Искупить кровью

Вячеслав Леонидович Кондратьев

SHOUT
SHARE
IT

- Кондратьев Вячеслав Леонидович.
  -
- notes
  - 1

Кондратьев Вячеслав Леонидович. Искупить кровью

— А вообще-то, можно сказать, деревню дуриком взяли, — пробурчал рядовой Мачихин, после того как все отдышались, пришли малость в себя и заняли оборону на другом конце взятой ими деревни.

Карцев, именовавший себя ласково Костиком, ничего на это не ответил, либо ему было не до разговоров, либо согласен был с Мачихиным.

Но только что подошедший политрук, такой же почерневший, как и все они, в ободранной о колючие заграждения шинели, пропустить такого не смог.

— Как это дуриком? — спросил строго, в упор.

— А так, — не смутившись, ответил Мачихин. — Ежели по-честному, то живым мясом протолкнулись.

— А танки?!

— Ну, они подмогнули маленько, подавили фрицевские пулеметы…

— А наступательный порыв? А боевой дух? — напирал политрук.

— Этого хватало, — не стал отрицать Мачихин и попросил закурить, но все же повторил свое: — Что ни говори, а дуриком…

— Замолчите, Мачихин! — прикрикнул политрук.

— Это мы можем…

Политрук посмотрел на Мачихина. покачал головой, однако кисет с табачком все же вытащил, предложил и Карцеву. Все закурили… Курили молча, вдумчиво, глубоко затягиваясь легоньким табачком, которым, конечно, не удоволишься так, как нашенской моршанской махорочкой.

Прошедший бой казался сном — тяжелым, страшным, мучительным. Подробности не помнились. Бежали, падали, поднимались, снова падали и опять поднимались, крича что-то на ходу, и — если откровенно — совсем не надеялись достигнуть той небольшой деревеньки, на которую наступали, потому что как ни бежали, оставалась она очень далекой, и не верилось, что при таком вот смертном огне смогут приблизиться к ней для последнего рывка…

И вот — взяли все-таки. И сейчас пришел к ним если не покой, то все же какое-то успокоение. Курили, поглядывая на политрука, на его усталое, не по возрасту морщинистое лицо. Он делал короткие затяжки, и все видели, как подрагивают у него

пальцы, держащие самокрутку, однако не осуждали — у всех не прошел еще противный мандраж, ведь такой бой осилили, и странно, что и политрук, и они сами остались живыми… И надо признать, политрук в бою после перебежек поднимался первым, крича истошным голосом "вперед, вперед!", перемежая эти слова матерком, которым, видать, пытался сбить страх и в себе, и в бойцах…

Докурив цигарку — уж пальцы начало жечь, — Карцев решил продолжить разговор, тем более вспомнил он, как в кадровой ходили они на учениях в наступление за огневым валом, подавив условного противника артогнем. Совсем непохоже на сегодняшнее, с одним "ура" и без единого артиллерийского выстрела.

— На одном порыве, товарищ политрук, далеко мы не уедем.

Не успел политрук и ответить, как опять Мачихин выступил:

— Ежели у каждой деревеньки столько класть будем, не дотопаем до Берлина.

— Прекратите, Мачихин, — уже устало отмахнулся политрук, на что тот с усмешечкой:

— Прекратить, это мы завсегда можем, — и отошел на шаг.

— Ты, философ, на больную мозоль не наступай, без тебя тошно, — бросил Карцев.

Политрук на "философа" усмехнулся и спросил Мачихина:

— Вы кем на гражданке были?

— Счетоводом колхозным. А что?

— Да ты большой начальник, оказывается, — натужно рассмеялся Карцев.

— Не завидую вашему председателю, Мачихин, — покачал головой политрук. — Вот что.

— О пустяках болтаем, — проворчал Мачихин. — Вы бы назад, на поле взглянули.

А они и говорили о пустяках, чтоб не думать, чтоб почувствовать себя живыми, и слова Мачихина заставили передернуться политрука, а Костик, не выдержав, тихо выматерился:

— Да иди ты, Мачихин…

Политрук опять вытащил кисет и молча стал завертывать цигарку, а Карцев, чтоб стряхнуть с себя муть от слов Мачихина, спросил:

— Товарищ политрук, может, пошарить по избам фрицевским? Авось найдется чего? Кухню же раньше ночи не привезут.

— Опомнился… Другие взвода уж шарят небось, — повернулся к ним Мачихин.

— Ротному доложитесь, Карцев. Если разрешит — валяйте.

— Есть, — живо ответил Костик, которому невмоготу было стоять без действия.

Ротного нашел он на другом конце деревни. Тот стоял за уцелевшей избой и назначал из кадровых сержантов взводных, а из рядовых — отделенных. Заметив Карцева, ротный сам подозвал его.

— Слушайте. Карцев, назначаю вас командиром первого отделения в ваш взвод.

— Разрешите отказаться, командир. Не гожусь я в начальники. Вот я просил вас в связные к себе взять, так не взяли…

— Вы же блатняга, Карцев.

— Да нет, командир, рабочий класс я, на "Калибре" работал, ну а приблатненный малость, поскольку из Марьиной, известной вам, рощи.

— А почему в командиры не хотите?

— Разрешите при вас… Земляки же мы, — не стал особо распространяться Костик, и ротный кивнул головой.

Карцев попросил разрешения поискать у фрицев жратвы и курева, на что ротный тоже кивнул. И у него небось живот подвело, не шибко на марше командиров доппайком баловали, с одной кухни пшенку лопали, подумал Карцев.

Проходя мимо бойцов, среди которых стоял и опекаемый им еще с формирования Женя Комов, худенький мальчик с карими, чуть навыкате глазами и припухлым детским ртом, прозванный "фитилем" и неизвестно, каким макаром попавший в армию, потому как на вид больше семнадцати ему не дать, Костик на ходу кинул:

— Ну как. мальчиша? Вроде не дрейфил? Видал я, не отставал ты в цепи, и улыбнулся ободряюще.

Комов поднял широко раскрытые глаза, в которых стоял еще не остывший ужас, и словно бы не понял слов Карцева. Но когда хлопнул его Костик по плечу, Комов пробормотал:

— Дрейфил я, Карцев, еще как дрейфил… А не отставал, потому что больше всего этого и боялся. А еще боялся, что в немца живого не смогу выстрельнуть.

— Ну и ну, — усмехнулся боец из пожилых, — а того, что он в тебя врежет, не боялся?

— Об этом я почему-то не думал.

— Вот и воюй с такими, — хмуро проворчал сержант Сысоев. — Набрали детский сад да стариков.

— Ты, сержант, неправильно его понимаешь, — возразил пожилой. — Он же городской. Ему сроду никого убивать не

приходилось. Это мы с тобой и скотину резали, и петухам головы рубили, а он что?

— Он-то? ухмыльнулся Костик. — А клопов ты, мальчиша, давил?

— Давил, — выдавил улыбку и, чуть заикаясь, пролепетал тот.

— А фриц, он — хуже клопа! Вот и дави его, гада! — сказал пожилой, смачно сплюнув.

Костик задерживаться больше не стал, а направился к ближайшей избе. Дверь открывать не пришлось — распахнута была настежь, и Костик смело, но все же держа ППШ на изготовку, вошел, огляделся и даже присвистнул от удивления — на аккуратных двухэтажных нарах и матрасики, и одеяла, и даже подушечки, все чин чинарем. "Вот, гады, с какими удобствами воюют! невольно вырвалось у него. — Вот бы придавить тут минут шестьсот, раздевшись до белья и укрывшись одеялом!" И почувствовал он тут, как устал, как намаялся от холода, бессонья и голода, ведь последний раз шамали вчера вечером, потом прошагали полночи до передовой, которая и слышна была, и видима кровавым, мерцающим над ней небом. С тех пор минули и ночь, и день, и бой, в который поднялись в шестнадцать ноль-ноль, выходит, что скоро сутки целые без жратвы. И стал Костик шарить по солдатским тумбочкам. Сколочены они были грубо, но все же настоящие тумбочки, почти такие, какие у них в казарме стояли, только непокрашенные. Но ничего стоящего в них не было носки фрицевские грязные, платки носовые, пустые пачки от сигарет, пачечки маленькие, сигарет на пять, наверно, были и побольше, на десять… Латинский шрифт Костик маленько знал, прочел: "Sport", "Senorita" и еще разные названия. Удивился, когда попалась пачечка с русским шрифтом — "Златна Арда", "Обед. Тютюн, фабрики придворий доставчици", посмотрел на обороте пачки, а там "Царство България". В общем, барахло все, и нечего было больше тут искать, надо офицерскую избу или блиндаж найти.

Подальше от немецких окопов, но зато ближней к теперешнему нашему переднему краю избе, стояли не нары, а койки. Тут и почище, и воздух другой — вроде одеколоном попахивает. Здесь Костик решил поискать по-серьезному, потому что кроме жратвы, а может, и выпивки, которые для всех надо добыть, томила его надежда, а вдруг пистолетик какой обнаружит типа "браунинга", который можно бы в задний карман бридж положить и какой видел он у Яшки-японца — героя марьинорощинской шпаны, профессионального уголовника, то пропадающего на несколько лет, то появляющегося в проездах

Марьиной рощи. Про Яшку ходили легенды, говорили, что милиция брала его всегда с перестрелкой, без боя "японец" не сдавался, ну, и многое другое болтали. Дружбу Костик с ним, конечно, не водил по причине своего малолетства, но видел несколько раз на одной фатере, где и хвалился Яшка вороненым изящным браунингом и даже давал ребятам подержать в руке, предупреждая шепелявым голосом: "Ошторожно, жаряженный". Помнил Костик, как замерло его сердце от восторга, когда ощутила рука сладостную тяжесть пистолета, рукоятка которого прямо-таки влилась в ладонь.

И теперь, роясь в чужих вещах и делая это совершенно законно, Костик вдруг ощутил какую-то тайную радость в возможности найти что-то необыкновенное. Понял он сейчас своих дружков и знакомых блатяг, которые и после больших сроков, отбарабанив в лагерях по пять-семь лет, возвратившись, шли "по новой". Есть в этом что-то, есть…

В офицерских тумбочках нашел он галеты, несколько банок консервов, те же пустые пачки от сигарет, ну и барахлишко разное, вроде металлического портсигара с картой Великой Германии — вот это, бля, пропаганда! Закуривает немец и поневоле на эту карту поглядит и гордостью за свою страну нальется. Ну, еще пара зажигалок, письма, открытки, фотографии, баночки какие-то неизвестно с чем и для чего… Портсигар и зажигалки он взял, а остальное кому надо?

Пошарил он в самодельном шкафу бывших хозяев. Там-то и обнаружилась темная бутылочка, наверняка со спиртным. Поколебался немного Костик и решил глотнуть. Вряд ли отравлено, немцы же отступать не собирались, выбили их нежданно-негаданно, чего там раздумывать. Крутанул бутылку, приложился к горлу. Закусил галетой, постоял — вроде все в порядке, крепость есть, в желудке потеплело, в голову чуть ударило — хорошо. Тут и мысль появилась, пошуровать бы по койкам, может, лежит что там. Одну, другую разворошил и под подушкой увидел… пистолет! Правда, не браунинг, а большой, с длинным стволом, непонятной конструкции. Повертел в руках, прочитал на затворе надпись — "Walther P-38". Сунул в карман, еле влез пистолет, не приспособлен для такого ношения, кобура нужна, но другого места нет. Пробуравит, конечно, карман ствол пистолета вскорости, но пока приятно оттягивает.

Сложив галеты, консервы и бутылку в вещмешок, вышел Костик из избы, чуть пошатываясь и глуповато ухмыляясь, — исполнилась "голубая мечта" его юности. Ему захотелось поделиться с кем-нибудь этой мальчишеской радостью, но с кем? С командирами нельзя — отберут, со стариками — не поймут, и

зашагал он к Жене Комову.

— Ну-ка, мальчиша, подойди ко мне, шепну пару слов, — пригласил Костик, подойдя к группке бойцов, среди которых тот находился.

Женя тяжело поднялся, подходить ему, видно, не хотелось, но и Карцеву отказать не мог.

— Что покажу, — заговорщицки прошептал Костик. — Отойдем в сторонку.

Они зашли за угол дома, Карцев огляделся по сторонам и торжественно вытащил из кармана пистолет. — Гляди, какая штучка!

— Нашел? — с легким придыханием, восхищенным шепотом произнес Комов, потянувшись к пистолету, словно желая погладить.

— Осторожно, заряженный, сказал Костик тоном Яшки-японца. — Хорош? Только не пойму, на наш ТТ не похож, на браунинг тоже. Небось, тоже в детстве мечтал иметь такую штучку?

— Ага… В седьмом классе один приятель мне дамский браунинг показывал, так я вроде честный был мальчик — а долго лелеял планы, как бы спереть у него этот пистолетик. Даже ночи не спал.

— Только, молчок, мальчиша… Пойдем к ребятам, обмоем мою находку, Костик засунул пистолет в карман. — Никому. Понял? — повторил Костик.

Женя понимающе кивнул и заковылял — на марше ноги он, конечно, стер. Сержант Сысоев и пожилой боец сидели, покуривали.

— Ну что, братцы, мандраж еще не прошел? — весело спросил Костик.

— У меня никакого мандража нет и быть не может, — быстро ответил сержант и вытянул руки — они не дрожали. — Это у некоторых…

— Бьет еще колотун, бьет… Такой бой осилили, — пробурчал пожилой.

— Тогда держи, папаша. Только глоток. — предупредил Костик, передавая бутылку.

— Раз угощаешь, нечего норму устанавливать, — принял "папаша" бутылку.

— Отставить! — скомандовал Сысоев, поднимаясь. — Вы чего, Карцев, тут распоряжаетесь. Где достали?

— Ротный меня послал съестного добыть, ну и трофей. Не бойтесь, сержант, неотравленная, пробовал. Так что прошу, угощайтесь. Я не жадный.

Пожилой успел сделать хороший глоток и теперь протягивал бутылку сержанту. Тот не взял и сказал строго:

— Учтите, Карцев, я теперь командир вашего взвода.

— А я у ротного в связных, сержант.

— Вот и идите к ротному. Нечего тут людей разлагать всякой немецкой гадостью. А бутылку — разбить!

— Ну, сержант… — протянул Костик, — неужто самому неохота после всей этой катавасии нервы успокоить.

— А у меня нервов нет. Поняли? Они в бою бойцу не нужны.

— Даешь, сержант… А ведь физика-то белая у тебя была в наступлении.

— Это я от злости бледнею.

Пожилой внимательно поглядел на сержанта и покачал головой.

— Форсишь, сержант. Не верю, чтоб страху у тебя никакого не было.

— Отставить разговорчики. А вы идите, Карцев, идите.

Костик повернулся и выругался по себя. Ну и долдон же сержант, хотя, что говорить, в наступлении вел себя толково и смело, сколько раз маячил на поле в рост, чтоб поднять кого-то из залежавшихся при перебежках… Да и вообще, подумал Костик, вся рота, хоть и не очень верила в успех — в наступление шла безропотно, послушно, несмотря на ожидавший их всех "наркомзем" или "наркомздрав", как называли они смерть или ранение…

Ротного он нашел не сразу… Сидел тот на завалинке возле аккуратно (видать, немцами) сложенной поленницы. Сидел бледный, со сосредоточенным, усталым лицом и глянул на Костика равнодушно.

— Товарищ старший лейтенант, — начал Костик бодро, — насчет жратвы трофеи слабые, но бутылочка шнапса нашлась. Давайте по глотку за нашу победу, — и вытащил бутылку.

Ротный взял бутылку, крутить ее не стал. Видать, навыка пить из горла не имел. Сделав несколько небольших глотков, молча отдал бутылку.

— Сержанта Сысоева вы на взвод поставили?

— А что?

— Задираться уже начал.

Ротный ничего не ответил, цигарку стал завертывать. Видел Костик — худо ротному, прошел вспыл, с которым они в наступление шли, небось мысли всякие навалились. И чтоб поддержать его, он сказал.

— Поздравить нас следует всех с победой-то…

— Какие к черту поздравления! Хреново наше положение,

Карцев. Разве это оборона? — показал он рукой на край деревни. — Начнут немцы нас выбивать, вряд ли удержимся.

— Надо удержаться, командир. Ежели он нас обратно по этому нолю погонит, побьет всех начисто.

— Понимаешь это?

— Чего тут не понимать. Это все понимают.

— Это хорошо, если все, — вздохнул ротный и задумался.

Костик потоптался еще немного и, поняв, что ротному не до разговоров, спросил:

— Если я вам не нужен сейчас, то разрешите еще по избам пошукать насчет съестного?

— Валяй, — кивнул ротный.

Карцев пошел… Для компании решил взять с собой Женю Комова. Тот лежал, закрыв глаза, подложив вещмешок под голову.

— Мальчиша, подъем! — негромко позвал Костик. — Пошли, облазим эту фрицевскую деревню. Может, еще пистолетик найдем.

Комов вздрогнул, открыл глаза и ничего не ответил.

— Что, устал? Неохота?

— Если найдем, мне отдашь? — стал приподниматься Комов.

— Беспременно. Законный твой трофей.

По дороге Костик стал напевать какую-то блатную песенку про паровоз, где часто повторялось: "Курва буду, не забуду этот паровоз…" Напевал тихо, почти про себя, но Комову казалось странным и даже кощунственным, что Карцев позволяет себе это, когда кругом наши убитые. "Как он может?" — думал он, поглядывая на товарища, не понимая, что тот отвлекает себя и свои мысли от того, что было, что есть и что может быть впереди.

Двинулись к немецкой обороне, шли вдоль хода сообщения, тянувшегося от крайней избы к блиндажу. Из блиндажей вился ход уже к окопам… Все сделано было добротно, толково и по всем правилам.

— Умеют, гады! — вырвалось у Костика. — Теперь понятно, почему эту деревуху наши почти два месяца не могли взять.

— А как же мы взяли? — еле слышно спросил Комов.

— Не знаю, — пожал плечами Костик. — Мачихин сказал — "дуриком", а по-моему, оплошали малость фрицы, всерьез нас не приняли.

Справа виднелся развороченный танковым снарядом дзот. Взрывом выброшены были и искореженный пулемет, и сам пулеметчик. Комов отвернулся от трупа. Костик бросил взгляд, поморщился и сказал:

— Давай в блиндаже посмотрим.

Женя кивнул, и они стали спускаться в блиндаж. Спустились, свет от приоткрытой двери высветил труп немца с развороченной раной в животе.

— Кто это, интересно, сработал? У кого из нас СВТ? Здорово резанул, все кишки наружу, — поморщившись, но бодро сказал Костик.

Женька отвернулся, смотреть на это было страшновато, и у него пропало желание искать здесь что-то. Карцеву тоже, видать, не очень-то хотелось тут копаться, но он все же оглядел все внимательно. Ничего стоящего не найдя, выкарабкались из блиндажа. Идти к развороченному дзоту Женя отказался, хватит с него и этого трупа, не будет он рыскать по блиндажам.

— Подбодрись, малыш, — вспомнил Карцев о бутылке и вынул ее из кармана.

Комов долго раздумывал, потом нерешительно согласился:

— Ну, если глоток… Может, согреюсь.

— Конечно. Меня колотун сразу перестал бить, как принял дозу.

Комов глотнул немного и совсем неожиданно для Карцева попросил закурить.

— Дам фрицевскую сигарету. Держи. Итак, мальчиша, посвящаю тебя в солдаты, — усмехнулся Костик, хлопнув его по плечу.

Комов неумело затянулся и раскашлялся… Карцев поглядел на него, покачал головой и отошел, подумав, что таких мальцов на войну брать ни к чему. Пройдя немного, увидел он связистов, тянущих связь, тоже в измазанных, грязных шинелях, с серыми, усталыми лицами. Видно, не раз фрицы своим огнем утыкали их на поле в воронки. Глянул он и на кажущийся очень далеким лесок, из которого начали они наступление, и подумал, что ежели выбьют их немцы из этой деревни, то вряд ли кто доберется живым, и стало ему страшновато — нет у них тылов, и подмоге не добраться, и связь перебьют сразу, так что все это — мартышкин труд. Хотел сказать связистам, да раздумал, отошел в сторонку и хлебнул глоток от зябкости, которую ощутил, когда глядел на поле и на такую дальнюю передовую.

У одной из изб, на завалинке, сидели папаша, бывший парикмахер Журкин и другие ребята. Папаша, смоля длинную закрутку, как всегда, что-то вещал:

— Помню, в германскую энто дело, то есть бой первый, обставляли сурьезнее: бельишко чистое надевали, поп молебен служил, письма родным карябали… А сегодня с ходу пошли, будто в игру играем. И, кстати, без разведки сунулись. Ведь энтих фрицев здесь батальон мог быть, они бы нас тут враз всех

прикончили, и танки не помогли бы… В ту войну так не делали…

— Рота их здесь была, а может, и меньше. Небось, начальство знало, заметил один из бойцов.

— Ни хрена твое начальство не знало… Нам бы, Карцев, когда стемнеет, хотя бы энти спирали Бруно перетащить на конец деревни, а то ничего впереди, ни окопчиков, ни заграждений, а фрицам сейчас ихнее начальство за то, что деревню оставили, мозги вправляет. Как бы они ночью выбивать нас не стали. Ты на начальство, — обратился папаша к тому бойцу, — особо не рассчитывай: помкомбата у нас сопляк, ротный уж больно ученый, а политрук — что? Он только болтать может. На войне, брат, каждый солдат лишь на себя надеяться должон. Верно, Карцев?

— Верно, да не все. Ротный у нас дело знает… Но, говорят, немцы ночью не воюют, а к рассвету надо быть наготове.

Эти Костины слова подействовали на всех успокаивающе. И верно, все болтают, что фриц ночью спать любит, а к утру они передохнут малость, поспят хоть несколько часиков, а там со свежими силенками дадут фрицу прикурить, ежели он, гад, сунется. Хотя окопов с того конца деревни и нет, но воронок тьма, деревца есть, ну и за фундаментами сгоревших изб укрыться можно. Ежели танки не попрут — отобьются, а ежели попрут — тогда хана. О танках, видать, почти все одновременно подумали, потому что кто-то сказал, что неужто сорокапяток не подкинут, без них не выдержать.

— Раньше ночи и не мечтай. Как они их через все поле потянут на виду у фрицев… Да и ночью вряд ли, от ракет светло, как днем. Вот, может, на самом раннем рассвете… — сказал папаша.

Парикмахер Журкин сидел, положив руки на колени, и смотрел в никуда отсутствующим взглядом. Рядом прислонил он винтовку СВТ с окровавленным штыком-кинжалом. Карцев сразу смекнул, что это, выходит, Журкин фрицу пузо распорол. Вот уж не подумать на него, мужичонка хлипенький. да и трусил на поле здорово, один раз его ротный за шкирку поднял с земли, второй — Карцев прикладом в спину погнал, а гляди-ка, угрохал немца. Хотел было Карцев спросить, как это он с таким верзилой управился, но тут завыли над ними мины, застрекотали пулеметы. Глянули на поле и увидели, как залегли там несколько солдат с двумя станковымн пулеметами.

— Пулеметики-то нам к делу, — заметил папаша. — Только не пройдут.

Но пулеметчики отлежались, переждали огонь, потом рванули рысцой, вновь залегли, снова рванули и минут через

пятнадцать достигли деревни. Лица белые, руки дрожат. Сбились возле избы и задымили.

— Ну, как дорожка? — спросил Костик.

— Иди ты… — проворчал пожилой усатый пулеметчик.

Костик и пошел, но не туда, разумеется, куда послал его усатый, а на другой край деревни. Кабы не так ответил пулеметчик, дал бы им Костя глотнуть трофейного шнапса, но раз послали, хрен-то им… По дороге наткнулся он на ребят, все так же сидящих у избы и смолящих махру. Сержант Сысоев стоял перед ними прямой, подтянутый, будто и не из боя. Подошел, остановился послушать разговор, который вели солдатики.

— Вот, разводили панихиду перед боем, — а живые, и деревню взяли, — это Сысоев выступал.

— Мы-то живые, а скольких положили, царствие им небесное…

— Опять, папаша, за религиозную пропаганду взялся? Предупреждаю, повысил голос на последнем слове сержант.

— А ты сам-то, сержант, неужто за весь бой ни разу о Боге не вспомнил? — оставил папаша без внимания строгое "предупреждаю".

— А чего о нем вспоминать? Без него деревню взяли.

— Ох, сержант, не гневи Господа. Вот выбьют нас фрицы отсюдова, да порасстреляют всех на поле, как драпать будем.

— Я вам подрапаю! И думать забудьте. И чтоб я таких разговорчиков больше не слышал. Слыхал, Карцев, уже драпать приноровились? Ну и народ, воюй с такими.

— Танки пойдут, не устоим, сержант, — сказал Костик.

— И вы туда же!

— А почему сорокапяток нет? — спросил кто-то.

— Будут, — уверенно заявил сержант.

— Ты, сержант, о Боге не думал, потому как сзади цепи шел, а нам-то пульки-то немецкие прямо в грудь летели, страхота страшная была. — сказал кто-то из ребят.

— Позади шел, как ротный приказал, людей подтягивать. Но там не лучше. Вы впереди не видали, как ребят косило, а я видел… — Опустил голову Сысоев и сжал кулаки.

Бойцы посмотрели на него с удивлением: неужто людей жалеет службист этот?

Папаша тоже оглядел сержанта, сказав:

— Это верно, в наступлении что впереди, что позади — все равно у фрица на виду. Но ты молодец, сержант, думал я, хвастал ты насчет Халхин-Гола. Значит, медалька твоя не зазря.

— Вы мне комплименты не делайте, скидки не будет.

— Мне твои скидки не нужны, я за Расею-матушку воюю.

Понял?

— Не за Расею твою дремучую, а за Советский Союз. Понял?

— Да сколько Союзу твоему лет? Двадцати пяти не будет. А России сколько? Понял? — Папаша довольно усмехнулся, решив, что уел сержанта.

Тот и вправду призадумался, но ненадолго:

— Старорежимный ты человек, папаша… А может, из хозяевов ты?

— Из них самых. Из крестьян, которые до тридцатого хозяевами были, а теперича… — махнул он рукой.

— Но-но, поосторожней, отец, — прикрикнул сержант.

— А чего нам осторожничать? Все одно под смертью ходим. Чего нам бояться? А окромя прочего, ты, сержант, брось мной командовать, я воевать и без тебя научен, потому как империалистическую прошел и гражданскую, а ты хоть медальку и получил, но воевал-то сколько?

Сысоев сплюнул и. проворчав "разговорчики", отошел.

— Здорово ты его, папаша. — сказал Костик Карцев и полез в карман. На, глотни.

Папаша не отказался, взболтнул бутыль и выпил до дна. Костя взял ее у него и кинул, но вместо ожидаемого звука разбитого стекла грохнул взрыв, словно гранату бросил. Все вздрогнули невольно, переглянулись с недоумением, пока кто-то не поднял голову вверх и не увидел "раму"… Видать, она и скинула небольшую бомбочку ради озорства.

— Ну вот, прилетела гадина, теперича жди бомбовозов, — в сердцах вырвалось у папаши.

И у всех засосало под ложечкой… По дороге на фронт бомбили их эшелон три раза, и хотя потерь было немного, страху натерпелись. И сейчас страшно сделалось, потому как ежели налетит штук пять, они от этой деревни ничего не оставят, да и от них тоже. Тогда фрицы заберут деревню обратно с легкостью.

С тоской уставились ребята в небо, где кружила рама, выглядывая, что они здесь, в этой занятой деревеньке делают. А что они делали? Связисты протянули связь в избу, которую заняли ротный и политрук, пулеметчики, появившиеся недавно, выбирали позиции на краю деревни, остальные бойцы тоже искали какую-нибудь лежку поудобнее да поукрытистей. Кто бродил по деревне, кто шарил по избам и блиндажам, а кто просто дремал с устатку, привалившись куда придется.

Костик тоскливо глядел на кружившуюся в небе раму и сожалел, что, наугощав других, себе ни капли не оставил, а выпить страсть как захотелось и от противного жужжания самолета, и от такого же противного ожидания бомбежки. Побрел

он снова к офицерской избе и, открыв дверь, сразу же увидел Журкина, сидящего на полу с бутылкой в руках, с бессмысленными, затуманившимися глазами.

— Ты что опупенный такой? Фриц в блиндаже твоя работа? — спросил Костик.

— Не спрашивай! — взвизгнул Журкин. — Сгоряча я. Раненый он был, рану свою перевязывал. Как я вбежал, он руки поднял, а я… с ходу ему в пузо. Понимаешь, ни за что человека убил. Знаешь, как он кричал… — Журкин закрыл лицо руками.

— Неладно, конечно, получилось. Живым надо было фрица брать, хоть расспросили бы его. Не переживай, война же…

— Я никого сроду не убивал. Никого.

— Ты что, бутылку всю опрокинул!

— Всю.

— Придется пошуровать. — И Карцев вышел в сени, где видел какие-то ящики.

Но не успел он их открыть, как вошел сержант и накинулся на Костика:

— Опять мародерством занялся? Отставить, Карцев! Выдь отсюда. Кто еще тут? — Не дождавшись ответа, Сысоев плечом толкнул дверь в горницу…

Увидев сидящего на полу Журкина, сержант заорал:

— Встать! На пост шагом марш! Устроился, голубчик! Живо! Журкин! Во, бля, народ! Воюй с такими!

Журкин с трудом поднялся и побрел к выходу, Как не заметил сержант, что он пьяный, неизвестно. Просто, видать, в голову не ударило, что этот занюханный парикмахер, боец, на взгляд сержанта, никудышный, может такое позволить, А скорее всего мысли Сысоева были заняты Карцевым, который много о себе понимает и которого надо укоротить,… Тем временем, пока сержант в избе был, Костик нашел две бутылки и, засунув их в карманы ватных брюк, быстро зашагал к ротному, чтоб угостить земляка-москвича шнапсом, ну и вообще он как связной должен при нем находиться.

По дороге встретил он бойца, к которому давно приглядывался, — знакомая вроде физика, да все как-то не выходило спросить, не встречались ли где? А сейчас попросил тот прикурить, при этом тоже трофейную сигаретку достал.

— Пошуровал, вижу, по избам? — спросил Костик.

— Да нет, нашел в траншее пачку, — лениво ответил тот.

— Ты, случаем, не москвич?

— Москвич. А что?

— Лицо мне твое знакомо. Вроде встречались. Не в Марьиной ли роще?

— Нет. Там я сроду не бывал, в другом районе жил. А ты оттудова?

— Да

— Нет, браток, не встречались мы. Москва-то большая.

— Это верно, большая. Все-таки где-то я тебя видал…

— Ошибся, — так же лениво и спокойно ответил тот и отошел.

Но Костик пока топал к штабной избе, все вспоминал, где же он видел этого парня? Не в той ли фатере, где видел он и Яшку с его браунингом? Там тогда было много народа, можно и ошибиться… Так и не придя ни к чему, дошел Костик до места.

В горнице, возле печки сидел ротный без шинели, выставив руки к огню. Карцев присел рядом, снял каску и шапку и вытащил бутылку.

— Погреемся, командир? Сейчас раскупорю.

Они сделали по хорошему глотку и закурили.

— Вы где в Москве жили? — спросил Костик.

— На Первой Мещанской…

— Понятно. Значит, и "Уран", и "Форум", и "Перекоп" — наши общие киношки… Куда чаще ходили?

— В "Форум", наверно.

— Помните, летом в садике джаз играл, танцы… Потом в буфет пойдешь пивка выпить, а после уж — в кинозал. Хорошо было… — мечтательно закончил Карцев, задумавшись, а затем с горечью прошептал: — Неужто больше ничего не будет? И эта деревня проклятущая — последнее наше место жизни? А, командир?…

— Не надо, Карцев, об этом думать… Я пробовал подготовить себя к смерти, но…

— Не получилось? — прервал Костик, усмехнувшись.

— Да, не вышло, — усмехнулся и ротный.

— Но все же помирать очень неохота, командир… Вы-то хоть что-то повидали в жизни, а я… — махнул он рукой. — Когда по полю бежал, ни о чем не думал, а вот сейчас… — достал Костик пачку фрицевских сигарет и закурил.

— Ничего я в жизни тоже не видел, Карцев. Даже жениться не успел, вздохнул ротный. — А сейчас думаю, и хорошо, что не успел.

В другой комнатухе зазвонил телефон, телефонист позвал ротного. Помкомбат спрашивал, не прибыл ли связной с приказом.

— Какой еще приказ?

— Придет — узнаешь. Погляди налево, может, поймешь. Как придет связной — сообщишь. Насчет того, что ждешь, будет

ночью. Короче, связной все сообщит.

Ротный накинул шинель.

— Пойдем, Карцев, посмотрим, что там на левом фланге делается.

Напротив Усова, занятого немцем, увидели они в лесу какое-то копошение, накапливался пород у опушки.

— Все ясно, командир. На Усово наступать собрались. Если возьмут, больному легче.

Тут и связной от помкомбата подошел и сообщил, что второй батальон на Усово пойдет, и приказано его поддержать огнем станковых пулеметов, которые имеются, чтобы открыли фланговый огонь по Усову.

— Пойдем к пулеметчикам, Карцев.

— Что вы меня по фамилии, командир? Земляки же мы, да надоела мне казенщина эта в армии.

Ротный внимательно посмотрел на Костика… Ему был симпатичен этот марьинорощинский парень, неглупый и даже интеллигентный, несмотря на свои полублатные замашки. Он улыбнулся:

— Хорошо. Костя…

— Лучше, Костик, командир, улыбнулся и он.

Пулеметчиками распоряжался усатый сержант… Расположил он станкачи по флангам, довольно хорошо замаскировал точки. Сейчас, когда подошли ротный с Карцевым, он выбирал запасные позиции. Ротный передал приказ помкомбата поддержать второй батальон фланговым огнем. Усатый передернул плечами и нахмурился.

— Без толку это, далеко слишком. Только себя откроем. К тому же лишь одним пулеметом сможем, вот этим, что слева стоит, — показал он на пулемет.

— Понимаю, но приказ…

— Приказ, — криво усмехнулся усатый, — приказы и дурные бывают. Ладно, посмотрим. Ни хрена из этого наступления не выйдет. Усово фрицами укреплено, дай Бог. Это у вас дуриком получилось…

— Во-во, — оживился Костик, — и наш Мачихин то же сказал.

— Не дурак, значит, ваш Мачихин… Я, товарищ командир, должон вам помогать, а ежели свои пулеметы открою, немцы их сразу забьют, чем отбивать атаку ихнюю будем?

— Вы думаете, немцы пойдут в наступление? — спросил ротный.

— А чего не пойти, им нас выбить без труда. Обороны-то настоящей нет.

Плохо чувствовал себя ротный старший лейтенант Пригожин,

бывший инженер-строитель, которому место, разумеется, не в пехоте, а в инженерных войсках, но в скоротечности и неразберихе мобилизации сунули его в стрелковую часть, не посмотрев даже на "вус"[1], ну, а потом, после ранения и госпиталя, тоже не удосужились этим заняться и послали на формирование стрелковой бригады, которое происходило в небольшом уральском городке недалеко от того, где находился их госпиталь.

Однако с пехотой он примирился. Встретив войну на западе и провоевав самые тягостные и трагичные первые месяцы, Пригожин пришел к выводу, что главное в этой войне — сберечь жизни бойцов, которыми так легко и бездумно разбрасываются, а война-то будет долгой, насчет этого никаких иллюзий он не строил, как и в отношении того, что удастся ему остаться в живых…

Он лучше других в роте понимал, как шатко и ненадежно их положение слишком далеко оторваны они от своих, трудно будет им помочь, когда немцы начнут отбивать деревню. А отбивать, несомненно, будут. И если пойдут танки, то встретить их Пригожину нечем — только два противотанковых ружья, штук двадцать противотанковых гранат, ну, и у каждого по бутылке зажигательной смеси… К тому же знал он по опыту, как трудно выдержать человеку приближение этих железных махин, какой страх и чувство беспомощности охватывает бойцов и как трудно подпустить танк на расстояние броска гранаты или зажигательной бутылки, особенно если человек находится не в укрытии. И он спросил Карцева:

— Если танки, Костик, что будем делать?

— Бой вести Можно только за избами, ну и в окопах немецкой обороны. Если оттуда вылезем — раздавят на поле, как клопов.

— Давай-ка и скажем об этом бойцам. Пошли.

К наблюдателям подходить было опасно, можно только ползком. Подошли к тем, которые расположились в середке деревни отдельными группками. Уже на подходе услышали голос папаши:

— Была у меня своя землица, холил ее, ублажал, кажинный камешек с нее убирал, навозу завозил сколько можно. Вот она и родила, матушка. Ну, и изба была справная, сам каждое бревнышко обтесал, к другому пригнал… И что? Из этого дома родного меня к такой-то матери… А какой я был кулак, просто хозяин справный… Обидели меня? Конешно. Вроде бы эта обида должна мне мешать воевать, однако воюю…

— Меня оставили, но я сразу в счетоводы пошел. Не на своей

земле — что за работа, — сказал Мачихин и сплюнул.

— Эх. сержанта на вас нету, он бы вам поговорил. — заметил кто-то.

— Что сержант? У него одно понимание вынули, а другое вложили, знаем мы таких… — махнул рукой Мачихин и снова сплюнул.

— Отставить разговорчики, отцы. Как танки будем отбивать, думали? — с усмешечкой вступил в разговор Костик.

— Я с танками не воевал, — заявил папаша. — Но рассказывали — страшенно очень.

— Оружие у нас противу танков больно знаменитое, — съязвил, конечно, Мачихин, показав на торчащее из кармана шинели горлышко бутылки.

— В общем, братва, надо за избами прятаться, а из-за углов кидать. И бутылки, и гранаты, — произнес Костик бодрым голосом.

— Да он энти избы сметет вместе с нами, — сказал один из бойцов со вздохом.

— А ты, мальчиша, что скажешь? — обратился Карцев к Комову, притулившемуся к завалинке.

— Я? Как все…

— Эх. мальчиша, я надеялся, что ты подвиг совершишь, а ты "как все", усмехнулся Костик, хотя у самого от этих разговоров про танки ныло в душе, но он бодрился, стараясь победить страх, льдинкой забравшийся за пазуху.

— Про подвиги пущай в газетах балакают… Как дуриком взяли, так дуриком нас отсюдова и турнут фрицы, — проворчал Мачихин.

— Нам с тобой, Мачихин, что, мы свое прожили, а вот мальца жалко будет, да и тебя, Костик… Не вовремя вы родились, ребята, не выйдет вам пожить на свете, — пожалел их папаша.

— Не каркай, папаша. А ты, малыш, не слушай, мы еще с тобой до победы, дай Бог, дотянем.

— Вот именно — дай Бог. Может, вы выживете, — решил и папаша ободрить мальцов.

Пригожин этот разговор и не прерывал, потому что ничего утешительного сказать не мог, а повторять казенные слова не хотелось, ими эти тяжкие мысли о смерти из голов людей не выбьешь, у самого на душе тягомотина…

Подошел политрук, бойцы нехотя приподнялись, но он сразу же махнул рукой — сидите, дескать. Лицо политрука озабоченное, растерянное. Он, несомненно, тоже понимает их положение и пришел, по-видимому, для того, чтоб поговорить с народом, приободрить, а тем самым прибодрить и себя.

— Ну как, товарищи, настроение? — спросил негромко оп.

— Какое может быть настроение? Хреновое… Одни мы тут в этой деревухе, в случае чего — помощи не дождемся, перестреляют их немцы на подходе. Вот и пушки не могут доставить, а без них…

— Зачем так мрачно, Мачихин? Сорокапятки нам, как стемнеет, привезут, патронов у нас навалом. Унывать нечего, товарищи. Главное, деревню мы взяли геройски. Вот если второй батальон Усово возьмет, наше положение укрепится. Можно же немцев бить! Сами убедились. Откатили их от Москвы, а теперь дальше катить будем… — политрук замолчал, закручивая цигарку, и, закурив, продолжил. — Главное теперь: отсюда ни шагу назад. Деревню надо удержать. Понятно?

— Это нам понятно. Деваться-то некуда, ни вперед, ни назад. Это мы разумеем, — сказал папаша.

Не смог умолчать и Мачихин. Почесывая за ухом, он пробурчал:

— Понятно-то понятно, но почему у нас, товарищ политрук, завсегда так нескладно получается? Взяли вот деревню, а сколько у нас сейчас народу? С гулькин нос. Подмога нужна, а ее нету, пушки нужны, тоже нету. Это заместо того, чтоб укрепиться тута как следует. И чего начальство думает? А выбьют нас — мы же и виноваты будем.

— Это уж непременно, — согласился кто-то.

— Подождем до ночи, товарищи. Прибудет и пополнение, и пушки. Обязательно, — успокоил их политрук.

На этом политбеседа и закончилась. Воевать надо, это все знают и все понимают. Но почему так слабы мы оказались, что допустили немцев до самой Москвы, почему у него всего навалом, а у нас то того, то другого нет? Вот снова эта рама проклятущая прилетела, действует на нервы, хоть бы один ястребок появился, сбил бы эту гадину, ан нет их, самолетов-то наших, куда подевались? Сколько их на парадах летало, неба не видно, а сейчас хотя бы залетный какой появился самолетик. А ведь эта рама неспроста, после нее всегда юнкерсы на бомбежку прилетают, ну и натворят здесь, одному Богу только известно. Перелопатят деревню, все с землей смешают. Одна надежда, ежели немцы отбить ее надеются, то не будут бомбить, сохранят ее для себя, у них тут все оборудовано, все справное, с удобствами вплоть до теплых сортиров…

Надеялся на это и Пригожин, поглядывая на небо, на тихо урчащую моторами раму, которая спокойно парила в небе, ничего не опасаясь… Вот на снижение пошла неспешно, и посыпались из нее белыми голубками листовки… Политрук, увидев это, едва не

бегом бросился к бойцам:

— Листовки не читать, немедленно сдать мне. Это приказ! — закричал он. Передать всем!

Чего напугался, недоумевали бойцы? Подумаешь, листовки фрицевские. Чем они могут взять? Да ничем. Попадались они некоторым, кто вторым заходом на фронте, так говорили — глупые листовки. Ну, еще в первые месяцы войны могли подействовать, а сейчас? Когда немцев от Москвы отогнали? А политрук забеспокоился. Не знали бойцы, что со стороны Особого отдела инструктаж был строжайший: листовки читать не давать, отбирать, а потом сдать все в Особые отделы, под личную ответственность командиров, и политработников особенно.

А листовочки кружились в воздухе и медленно планировали на землю. Какие на поле попадали, какие и в деревню залетели. Политрук и замполитрука, назначенный им из бойцов, потому как того, с четырьмя треугольничками, кадрового, ранило и потопал он радостно в тыл, начали ходить по деревне и листовочки эти подбирать. Их в деревню попало не так уж много, а потому политрук приказал никому их не подбирать под угрозой трибунала, надеясь, что вдвоем они сами управятся. Ведь ежели боец подберет, так поневоле глазом пройдется по строчкам и узнает, к чему немцы его призывают, а призывали они, конечно, сдаваться, переходить на ихнюю сторону, и каждая листовочка эта являлась пропуском. А переходить предлагали, потому как сопротивляться им безнадежно, Красная Армия разгромлена, а в плену им будет обеспечена и жизнь, и пропитание, и прочее…

Видя, как резво собирают политрук с бойцом листовочки, чуть ли не бегом, Мачихин — а кто же иной — ухмыльнулся презрительно и заявил во всеуслышание:

— Не верит нам начальство, не доверяет, будто прочтем этот листок и побежим сразу в плен. Разве это дело, так народу не доверять?

— А когда Советская власть народу доверяла? Да никогда. И в гражданскую комиссары все выпытывали, какого кто происхождения. Офицеров царских сколько перестреляли, а они ведь добровольно в Красную Армию пошли, за народ вроде были, — откликнулся папаша, и тоже не тихо.

— Легче на поворотах, папаша. На стукача нарвешься — погоришь, предупредил Костик. — Вон сержант на подходе.

— А я уж горел, горел, а как война, призвали меня Советскую власть защищать, которая меня не успела заничтожить до конца. Не боюсь я теперича никого — ни стукачей, ни власть, ни НКВД, надо мною сейчас другая власть Божья. А посадят, так я в лагере, может, и выживу, а здесь, сам понимаешь…

— Интересное кино получается, папаша… Может, ты и задумал в лагере от войны перекрыться? — усмехнулся Костик.

— Я вот тебе врежу за такие слова, соплями изойдешь. Силенка во мне осталась, — тяжело приподнялся папаша, сжав увесистые кулаки.

— Пошутил я. Что, ты меня не знаешь?

— Я тебе пошуткую. Говорил я, за Расею-матушку воюю, она мне родина родная. Понял?

Костик согласно кивнул, а папаша стал завертывать цигарку. Закурив, продолжил:

— Я вот что думаю: ежели победим немца, распустит, может, Сталин колхозы, вернет мужику землицу обратно?

— Вижу, здорово ты против колхозов, папаша, — сказал Костик.

— А что же, давно людьми сказано: богатый мужик — богатая страна. А в колхозе все нищие. Это и дураку ясно, чего тут говорить-то.

Вдали появился политрук с бойцом, в снятых касках несли они немецкие листовки. Разговор, само собой разумеется, затих, но когда они проходили мимо, Мачихин спросил:

— Ну что там, товарищ политрук, фрицы нам пишут?

Политрук остановился и, не ответив, озабоченно спросил в свою очередь:

— Никто из вас, товарищи, не подбирал листовки? Смотрите, найду, плохо будет. Есть на этот счет строгий приказ. А потому, если кто припрятал на закурку или еще для чего — сдайте сейчас же.

— Успокойтесь, товарищ политрук, никто из нас ничего не брал. Хотя на подтирку парочку неплохо бы иметь, — улыбнулся Костик.

— На кой они нам, — безразлично произнес папаша.

Политрук оглядел всех и, видно, поверив ребятам, тронулся в избу, в которой ротный с телефонистами находится. Не успел он войти, как прибежал боец-наблюдатель и сообщил, что по оврагу пробираются к нам двое, помкомбат, наверно, с бойцом. Ротный поднялся, подтянул ремень и ушел встречать помкомбата, захватив но дороге Карцева. У края деревни они остановились и глядели, как двое, согнувшись, довольно робко двигались в их сторону. Овраг метрах в ста от деревни кончался, и тем двоим придется выйти на поле, где они будут видимы немцами из деревни Панова, что находится справа от Овсянникова. Вот тут придется им и ползком, и перебежками, потому как подстрелить их может немец запросто. На какое-то время они скрылись из глаз, а потом стал видим один. Он ползком вылезал по склону

оврага, это был сопровождавший помкомбата боец. Выползя, огляделся, затем быстро поднялся и побежал в сторону деревни, но вскоре бухнулся в снег, прижатый огнем немецкого пулемета, открывшего стрельбу почти сразу же, как тот побежал.

— Наблюдают, гады, заметил Костик. — Ранило или так залег?

Ротный молчал, думая, зачем тащится к ним помкомбат и что его приход сулит? Почему-то прижало сердце от нехорошего предчувствия: вдруг заставят их наступать на лесок, в который ушли немцы для поддержки второго батальона? И наступать не по делу, а лишь для отвлечения противника, стало быть, ненужные бессмысленные потери, а в роте и так всего восемьдесят человек…

Тем временем помкомбатовский связной поднялся и добежал до первого немецкого окопа, а оттуда по ходу сообщения добрался до них. Левый рукав его телогрейки был окровавлен. Карцев бросился ему помогать перевязать рану, тот морщился от боли, но в глазах билась радость.

— Отвоевался на время… Отсижусь у вас до темноты и в тыл потопаю, выдохнул он и попросил завернуть ему цигарку.

— Зачем помкомбат-то идет? — спросил его ротный.

— Не помкомбат это. Начальник Особого…

— А ему зачем к нам?

— Из-за листовок фрицевских поперся. Он больно смелый у нас, когда выпивши. А мне вот не поднес, мне тверезому под пули лезть, знаете, какая неохота была.

— Знаем, сказал Костик и дал связному фрицевскую сигарету.

Тот затянулся со смаком и даже блаженно закрыл глаза на время. Ему-то хорошо, подумал Костик, отлежится в санроте или в эвакогоспитале, а вот нас неизвестно, что ждет…

— Знаешь что, Карцев? Пойди-ка, поспрошай, не оставил ли кто листовки при себе, а то найдет особист, неприятностей не оберешься, — сказал ротный.

— Неприятностей? — усмехнулся раненый. — Мягко выразились, старший лейтенант. Наш бравый начальничек в трибунал упрячет, а то и на месте за такие дела хлопнет.

— Чего мелешь-то? Какие у него такие права на это? — занедоумевал Костик.

— Выходит, есть… Да он у нас как что, так пистолетик из кобуры. Психованный, по-моему, малость.

— Ну, ты такое наговорил, что нам радоваться надо, ежели хлопнет его по дороге.

— Его не хлопнет, везучий он. А вообще-то я горевать особо

не буду, заявил раненый, осклабившись.

— Что ж ты так о своем командире?

— А меня назначили к нему всего два дня назад.

— Костик, выполняйте приказание, — спокойно напомнил ротный.

Карцев рысцой бросился в деревню, а ротный и связной особиста стали смотреть, как будет тот перебегать открытое место. Ротный ни разу не сталкивался с Особым отделом, никого оттуда не знал, но слова красноармейца насторожили его, по ним видать, что особист этот сволочной и ждать от него всего можно. Однако особист перебегать не торопился, ждал, видно, когда немец успокоится и перестанет так внимательно наблюдать, решив, что русский, по которому стреляли, был один. Ротный закурил, угостив и раненого, они дымили и перестали глядеть на поле, перекидываясь незначащими словами, а потому особист ошеломил их своим нежданным появлением.

— Вот как надо, — заявил особист раненому. — Выбрать момент и мигом, без всяких перебежек. Они по мне стрельнули, когда я уж у окопа был.

Особист был возбужден и так доволен, что добрался благополучно, что не обратил внимания на ранение своего связного. От него и вправду попахивало спиртным, хотя по виду был трезв, подтянут и недурен собой — серые холодные глаза, нос с горбинкой и небольшие черные усики па тщательно выбритом лице.

— Я говорил, вы везучий. А меня вот ранило.

— Ранило? — только сейчас посмотрел особист на забинтованное предплечье связного. — Эх, вояка! И в левую ручку угодило? Хорошее ранение. Что-то вы долго отлеживались, не тогда ли и ранило?

— Вы же видали… Меня на ходу хлопнуло, оттого и упал, — с обидой и с недоумением ответил связной, исподлобья взглянув на особиста.

— Ладно. Такой вы мне не нужны, можете в тыл идти.

Разрешите темноты дождаться, не хочу, чтоб добило, — попросил он.

— Я темноты дожидаться не буду. Со мной пойдете тогда, — приказным тоном сказал особист и повернулся к ротному. — Вы кто?

— Командир первой роты.

— Листовки все собрали?

— Этим политрук занимался.

— Где он? Отведите меня к нему, — таким же тоном произнес тот.

Когда вошли в избу, особист поздоровался с политруком и сразу же к делу:

— Сколько листовок собрали?

— Штук тридцать.

— Какие тридцать? Над деревней сотни кружились.

— Остальные на поле упали, там не соберешь, обстреливают.

— Испугались? А если кто из бойцов там их найдет? Выделите трех человек понадежнее и прикажите все, повторяю — все листовки собрать. И немедленно!

— Я не имею права рисковать жизнями бойцов ради этих ничтожных бумажек, — твердо сказал политрук и поднялся.

— Нас осталось слишком мало, а главная наша задача — удержать занятую деревню, — тоже твердо и даже с некоторым раздражением заявил ротный. — А приказывать нам может только помкомбата.

— Ах так! Хорошо. Где связь? Соедините меня с помкомбата!

Пошли в другую половину избы, телефонист стал крутить телефон, вызывать: "Я — Ока, Волга. Волга, дайте второго…"

Добившись ответа, связист сказал, что помкомбата в землянке нет и не скоро будет, пошел в сторону Усова.

— Ладно, подождем. А пока, политрук, пойдем-ка проверим, нет ли у кого из ваших бойцов на руках этих бумажек, как вы назвали вражеские листовки, не понимая, видимо, их значения.

— Глупость эти листовки, — заметил политрук.

— Глупость вы видите? Я вот вижу потерю бдительности, политрук. Ну, пошли.

Ротный кивком головы послал Карцева вслед за ними. Костику сразу не понравился особист, да и кому он мог понравиться, когда со всеми на басах говорит, будто такой уж большой начальник, небось, по званию лейтенант или старшой, а гонору… Особист не только спрашивал, есть ли у кого листовки, но бесцеремонно у некоторых шарил но карманам шинелей, а к кому и в гимнастерочный карман лез рукой. Из-за чего шмон и паника, Костик не понимал, подумаешь, какие-то листовки поганые, будто прочитают их ребята и сразу скопом сдаваться пойдут… Ох, уж эта бдительность хреновая. Конечно, папаша номер выкинул. Когда к нему особист полез, папаша встал и сказал весомо:

— Я не в лагере, товарищ начальник, а в Красной Армии, вы мне шмон делать не можете, права у вас такого нет.

— Есть у меня права, прекратить разговорчики.

— Не трожь, начальник, а то худо будет, — предупредил папаша, да так серьезно, что у того аж лицо побледнело от злости, — сказал я, нет у меня ничего, и баста. Тут не тыл, где

руки распускать можно.

— Как ваша фамилия?

— Фамилия? Самая русская. Петров я… В гражданскую, начальник, нам больше верили, красноармейцам-то. А то испужались какой-то дряни, да я срать хотел на эти фрицевские бумажки.

Особист постоял около папаши, подумал, но решил все же с этим мужиком не связываться — широкий был в кости, да и росту стоящего, — и пошел по другим бойцам. К наблюдателям, залегли которые на краю деревни и к которым в рост не потопаешь, особист не пошел, а попросил политрука кликнуть двоих. Фамилий всех политрук, конечно, упомнить за две недели формирования не мог, выкликнул тех, что знал, в том числе и Журкина, бывшего парикмахера. Хмель у того еще не прошел, и он, глупо улыбаясь, стал уверять особиста, что нет у него ничего, однако тот не поверил и ловко, одним движением расстегнув крючки шинели, сунул руку в карман гимнастерки и вытащил две сложенные пополам листовки.

— А это что?! Мать твою! — заорал особист, держа листовки у всех на виду.

— А разве это листовки? Валялись бумажки белой стороной, я и взял для закурки, нету газетки-то. Они сами ко мне прилетели, я лежу на посту, вдруг одна, вдруг другая, ну и сунул в карман…

— Не врать! Сами прилетели… Дурочку не стройте. Для чего взяли? К немцам перейти собирались? Родину продать?!

— Зачем мне к немцам? Ей-богу, на закурку взял. Я и не читал их, они же непечатной стороной упали.

— Я вам дам закурить сейчас! Признавайтесь, кому листовку вражескую показывали? Кого агитировали на переход к врагу?

— Да ей-богу, как в карман положил, так и не вынимал. Я и забыл про них. Вы меня спрашивали про листовки, а я думал, что бумажки простые поднял, вот и не отдал вам.

— Хватит божиться, я вам не поп! Все ясно, политрук, этот боец намеревался перейти к фашистам. Как предателя Родины, я обязан его расстрелять на месте, — и стал особист расстегивать кобуру.

Услышав это, Карцев бросился бегом к ротному и не слыхал, как побледневший политрук сказал:

— Нельзя этого делать. У нас впереди бой, и каждый боец на счету. К тому же, подумайте, какое моральное состояние будет у красноармейцев после того, как их товарища расстреляют без суда.

— Я вашего позволения и не собираюсь спрашивать, —

расстегнул уже особист кобуру и вынул пистолет.

Политрук шагнул вперед и загородил собой Журкина.

— Этот боец первым ворвался в деревню и в рукопашной уничтожил фашиста. Вы можете разоружить его и отвести в штаб, но расправы над ним я вам не позволю.

Здесь подбежали ротный и Карцев.

— Что тут происходит? — почти криком спросил ротный.

— Ничего, — отрезал особист. У вашего бойца я нашел припрятанную листовку. Я забираю его к себе в Особый отдел, — спрятал он пистолет в кобуру. А вы, политрук, сдайте мне все найденные листовки. И повторяю, нужно собрать их и на поле. Под вашу ответственность, политрук. Надеюсь, вы знаете приказ насчет этого.

— Хорошо, постараюсь, — сдался политрук для видимости.

— Без разрешения помкомбата я не отдам вам бойца, — сказал ротный.

— Будет вам разрешение, будет… Идемте звонить. А его разоружите.

И все, кроме Журкина, с похмелья еще не понимающего, что произошло, отправились в штабную избу. По дороге к Карцеву подошел папаша, спросил, в чем дело, Костик сказал ему на ходу в двух словах. Папаша нахмурился, и какой-то таящий опасность огонек блеснул на миг в его глазах.

До помкомбата дозвонились. Ротный рассказал ему о происшедшем, помкомбата буркнул, что ладно, мол, отдай Журкина, он проверит, как пойдет дознание, и что лучше с дерьмом не связываться. Ротный нехотя согласился и послал Карцева за Журкиным, сказав все же особисту, что он, ротный, на его месте не стал бы этого делать.

— Это почему?

— Да потому, что вы будете маячить своей спиной к роте не одну минуту…

— Угрожаете?

— Предупреждаю, потому что не могу гарантировать вам безопасность. У меня восемьдесят бойцов, только что побывавших в аду, под смертью. Неизвестно, что кому придет в голову, когда их товарища поведут на расстрел…

— Вот что… — угрожающе пробормотал особист. — Если так, то, я и вас приглашаю прогуляться со мной до Особого отдела, лейтенант. Сдайте кому-нибудь роту.

— Вы превышаете свои полномочия. Роту мне сдать некому и уйти отсюда без приказа я не имею права. Идите-ка подобру-поздорову, лейтенант, или как вас там по званию. — Отвернувшись от особиста, ротный приказал Карцеву привести

Журкина.

Костик резво бросился выполнять приказание. Резво, потому как мелькнула у него одна мыслишка, и он заспешил… Прибежав, Журкина на прежнем месте он не нашел, стал спрашивать бойцов, те неохотно отвечали, что был тут недавно, а куда пошел, не видали… Неужто сам догадался парень, что надо скрыться куда-нибудь на время, а там второй батальон наступать начнет, пулеметчики наши поддержат, значит, немцы и по их деревне огонь откроют, и тогда особист ноги в руки и смоется, чего ему зря рисковать, а что дальше будет, загадывать нечего. А Журкина может ранить или убить, и вообще от этой деревни ничего не остаться, и от них вместе с нею. Искать Журкина он, конечно, не стал, а неспешным шагом направился к штабной избе. Не без удовольствия доложил ротному, что Журкина на месте нет, и никто не знает, куда он делся, а сам поглядывал па особиста, предвкушая, как тот разъярится, начнет орать, но тот обманул ожидания Костика, сказав спокойно:

— Этого следовало и ожидать. Этот подлец ушел к немцам.

— К немцам не уйдешь, все поле под наблюдением. Карцев, возьмите кого-нибудь и найдите Журкина, — приказал ротный.

Не успел Костик сказать "есть", как особист спросил:

— У вас в роте есть сержант Сысоев? Вызовите его ко мне. Найдите. Карцев, сержанта.

— Есть. — Костик показал выправку по всей форме и вышел из избы. Вышел и вскоре столкнулся с папашей.

— Журкина ищешь? Это я ему присоветовал скрыться. Помечется особист и уйдет, как бой начнется. Видишь, второй батальон уже изготовился, и танки там заурчали.

— Особист сержанта приказал найти.

— Вот оно что? Выходит, его кадр, герой-то наш? Ты помешкай малость, Карцев, не торопись.

— Я и не спешу, ухмыльнулся Костик.

Но "не торопиться" не вышло у них. сержант собственной персоной шел на них, и Костику ничего не оставалось, как сказать, чтоб шел он в штабную избу. А через некоторое время увидели они, как особист с сержантом пошли рыскать по деревне Журкина, и вскоре нашли. Сержант нес СВТ Журкина, а тот шел между ними, опустив голову и лишь иногда бросая отчаянные взгляды по сторонам.

— Заарестовали, гады, — сокрушенно выдавил папаша, и опять в его глазах блеснул мрачноватый огонек.

Когда они поравнялись с папашей и Костиком, сержант Сысоев кинул им:

— Знаете, куда этот тип заховался? В сараюхе в солому

спрятался. Я же чую, что тут он, крикнул, сейчас прострочу очередью, тогда вылез голубчик.

— И чего ты, сержант, так старался? Наш же Журкин. Знаешь, как он фрицу брюхо разрисовал?

— Я приказ выполнял. Понял? И скажи, зачем твой герой листовки фашистские в кармане прятал?

— Так по дурости.

— Вот за дурость и ответит, — отрезал Сысоев, глянув на особиста.

Тот в разговор не мешался, вспоминал случай, рассказанный одним старшим товарищем, который в подобной же ситуации расстрелял за листовку красноармейца. Правда, тот бросился бежать, и пришлось догонять его на газике, вставши на подножку кабины… Занятый воспоминаниями, он пропустил мимо слова Костика, что "наш же Журкин", а то бы, конечно, запомнил этого долговязого бойца.

— Ну, и что ему будет? — спросил Костика папаша, когда те отошли на порядочное расстояние.

— А хрен их знает! Трибунал, наверно.

— Трибунал, ладно… Шлепнуть могут для напуга остальных, им это раз плюнуть — тьфу и нету Божьего создания.

— За такую ерунду — шлепнуть? Не думаю…

— Не знаешь ты этого народа, Карцев, — покачал головой папаша.

Тут подошел к ним Женя Комов и спросил, куда повели Журкина. Костик ответил, не скрыв опасений папаши. Комов изменился в лице, побледнел, губы жалко задрожали.

— Не может быть… За какую-то листовку?… — почти прошептал.

— Ты, малец, ничего-то не знаешь. У нас, поди, с семнадцатого года ни за что шлепали, и жили не тужили. А за листовку — это, брат, за дело, мрачно усмехнулся папаша.

— Война, мальчиша, ничего не поделаешь, — решил успокоить его Костик и закурил трофейную сигарету. — Не хочешь?

— Не-е… Надо же что-то придумать…

— Придумать можно, однако… — раздумчиво и мрачновато произнес папаша и отошел.

Костик не сразу, но догадался, вспомнив предупреждение ротного особисту, что подразумевал папаша. Но когда Женя Комов стал допытываться у Костика, что можно придумать, он не стал распространяться о своей догадке и отвязался от Жени, сказав, что ему нужно идти к ротному.

Комов остался один. Навалившееся на него за сегодняшний

день было слишком тяжелым, и он оказался словно бы придавленным. Все представлялось каким-то кошмаром, от которого можно сойти с ума. Да и читал где-то Комов, что случается на фронте такое, и он стал бояться, вдруг он тоже свихнется от всего пережитого.

В роте почти все бойцы из служивших кадровую, кто-то из госпиталей, уже повоевавшие, только он один попал на фронт сразу из дома, из уютной московской квартиры, из-под маминой юбки, говоря грубо. И понимая, что жизнь его не стоит и пятака, он переживал не за себя, а больше за мать, которая не выдержит, не переживет, если получит похоронку на единственного сына…

Пока он сидел около полусожженной избы и думал об этом, подошли к избе папаша и Мачихин и расположились невдалеке. Тоже присели, закурили. Часть разговора их доносилась до Жени.

— Вот заарестовали Журкина, наверняка, гады, шлепнут, им это раз плюнуть. Когда драпали с запада, рассказал мне один, что к их части пристали старик какой-то и учитель с училкой. Ясно, что им лучше с солдатами идтить, чем одним, ну, и шли рядом, солдаты с ними хлебцем делились, но появился тут особист в чинах и решил, что шпионы они, раз за частью следуют, ну и шлепнул всех троих. Училка кричала, клялась, какая она шпионка, ее недавно только в западные области в школу направили, так никого не послушали — расстрелял этот курва всех собственноручно…

— Откуда только такая сволота берется? — не смог, видно, смолчать Мачихин.

— Ты погоди, ты дослушай… Хлопнул, значит, этот особист, не посмотрел даже на убиенных, сел на лошадь и тронулся. Однако далече уехать ему не удалось, пульнул кто-то в догонку и… наповал… А кто пульнул, поди разберись, да и разбираться никто не хотел, те же командиры… Вот ты, Мачихин, человек неглупый, политрук тебя как это… филозофом называет. Вот и подумай… Может, и нам?… Журкина спасем, и Расею от сволоты избавим. Он же молодой, только начал работать, сколько он за эту войну людей ни за что погубит? А?

— Погубит бессомненно. Однако… — задумался Мачихин.

— Что однако? Ведь пока они до оврага станут добираться, немцы не один раз их обстреляют, а то и мины пустят. Под этот шумок…

Комов слушал, как хладнокровно и спокойно обсуждают папаша с Мачихиным предполагаемое убийство человека, пусть и малосимпатичного, плохого, но все же человека, пусть и ради спасения другого человека, и ощущение кошмара, происходящего вокруг, еще более усиливалось, становилось совсем

невыносимым… Комов не знал, что предпринять: подойти ли к ним и сказать, что он все слышал, или отойти незаметно, и пусть будет что будет, ведь он сам хотел спасти Журкина?… Но пока Комов раздумывал. Мачихин встал, завернул за угол дома, расстегивая ширинку, и увидел Комова. Не став справлять нужду, он остановился напротив Комова и направил на него напряженный взгляд.

— Ты что, все время здесь сидел?

— Да, — еле слышно ответил Комов.

— Выходит, слыхал, о чем мы с Петровичем балакали?

— Слыхал…

— Ну и что? — уперся Мачихин в него взглядом.

— Не знаю…

— Чего заладил — не знаю, не знаю?… По тебе что лучше? Чтоб твоего сотоварища, с которым вместе эту деревуху брал, кокнули ни за что или особиста того подранили?

— Так вы его только подранить хотите? — обрадовался Комов.

— Ничего мы не хочем. Просто мыслями делились. Может, его и без нас немцы шлепнут…

Тем временем в штабной избе особист и его связной, раненный, собирались идти обратно в тыл, ну и, конечно, с арестованным Журкиным. Ротный сидел за столом и наскоро писал Журкину характеристику. Политрук ждал, когда он закончит, чтоб подписать ее тоже, а перед этим уговаривал особиста отнестись к Журкину по-человечески, учесть, что вел себя в наступлении этот боец хорошо, смело…

— Уж больно вы жалостливый, политрук. Война же, а на ней слюни распускать не следует, — грубовато прервал его особист. — Развели тут гуманизм вместе с ротным. Глядеть на вас тошно. Как бы с этим гуманизмом не выбили вас немцы отсюда. Учтите, трибунал будет верный.

Костик Карцев глядел на особиста, слушал, а сам недоумевал, почему ни ротный, ни политрук не могут его обрезать, они же тут командуют и за все отвечают, и хоть стараются Журкина как-то поддержать, вот характеристику пишут, а все-таки отдают своего красноармейца в Особый отдел на неведомую судьбу. И что это за сила такая — Особый отдел? Общаясь с марьинорощинской шпаной и блатарями, для которых главным врагом были МУР и милиция, Костик не слыхал от них насчет политических, которых в лагерях было навалом, ничего, кроме того, как здорово кто-нибудь из блатных поживился барахлом каэров. Жалости к ним у уголовников не было, да и какая жалость может быть в лагере, где идет борьба за выживание, — "Умри ты сегодня, а я завтра". И,

размышляя о судьбе Журкина, Костик начал понимать, что "мусора" все же сажают людей за настоящие преступления, а вот эти могут пришить дело ни за понюх табаку — ну в чем Журкина вина? Кабы выдавали им, как немцам, сигареты или папиросы, так и бумага для завертки махры не нужна была, никто бы и не подбирал эти чертовы листовки, а так: где на передовой бумажку найти, чтоб цигарку завернуть? Негде. И за это дело могут расстрелять человека или срок намотать в десятку с заменой передовой! А как человеку воевать со сроком? Ему и доверия в роте не будет, его в каждое мертвое дело будут посылать, чего его жалеть, осужденного-то, пусть кровью искупает. И чем больше Костик об этом думал, тем отвратительней становился ему этот особист, перед которым и уважаемый им ротный тушуется, и политрук тоже. И тем справедливее казалось ему папашино — "Придумать можно". Навязчивее становилась мысль сделать самому то, что надумал папаша. Не убить, конечно, это Костику казалось страшным, а подранить особиста, чтоб не до Журкина тому стало.

— Ну, дописали? — нетерпеливо спросил особист и с какой-то брезгливостыо схватил бумагу с характеристикой, небрежно сунул ее в планшет. — Ну, бывайте.

— Передайте, пожалуйста, помкомбата, что мы ждем подкрепления живой силой и сорокапятки, — сказал ротный.

— Передам. Вы только тут сопли не распускайте, — предупредил особист и вышел из избы вместе со связным и Журкиным.

Но не успел он выйти, как зазвонил телефон, по которому помкомбат сказал ротному, что начинается наступление на Усово, и приказал поддержать его огнем станковых пулеметов. Все, кроме телефонистов, выскочили из избы. Вдалеке, на правом теперь от них конце черновского леса, высыпались на поле маленькие серые фигурки бойцов второго батальона, вскоре разрезанные пошедшими, теми же, что и поддерживали их, танками. И сразу же, разумеется, открыли огонь немцы из Усова.

Ротный, скомандовав "всем в укрытия", бросился к пулеметчикам, Карцев за ним, но успев захватить взглядом возвращавшегося в избу особиста, которому не пройти теперь было открытое место до оврага, потому как немцы и с Панова открыли фланговый огонь по второму батальону. Политрук спешным шагом потопал к ребятам в обороне, ведь можно ожидать, что немцы именно теперь пойдут отбивать деревню, и надо быть наготове.

Пулеметчики, само собой, наблюдали за наступлением и приняли ротного без радости, понимая, что прикажет он открыть

огонь, а тем самым обнаружат они себя, и немцы тут же забросают их минами.

— Помкомбат приказал поддержать, — не от себя сказал ротный, понимая неохоту пулеметчиков вести огонь.

— Без толку, командир… Я говорил вам, что и далеко, да и бесприцельный огонь вести бессмысленно, — ответил усатый.

— Я знаю, но это приказ помкомбата. Надо выполнять.

Усатый скомандовал пулеметчикам откатить станкач подальше от основной позиции, более или менее обустроенной, и которую, не дай Бог, немцы засекут.

— Одним пулеметом будем стрелять, второй пусть в заначке, — сказал усатый, ротный согласно кивнул.

Полоснули пулеметчики по Усово фланговым огнем, однако и минуты не прошло, как заныли противно мины над головами и стали рваться по всей деревне. Густо стали сыпать… Пулеметчики огонь свой прекратили, однако немцы не успокоились, сыпали и сыпали мины по всей площади деревухи, разбросав роту по немецким окопам и щелям и по подвалам домов. Только тем, кто в обороне, деваться некуда, прижались к землице, нахлобучив каски до ушей, вздрагивая каждый раз, когда мина рвалась недалече.

Оттуда, из черновского леса и с поля, доносилось негромкое "ура", но двигался второй батальон робко, часто залегая. Танки, дойдя до середины поля и отстреляв из пушек, стали заворачивать обратно, и, ясное дело, наступление застопорилось. Только отдельные группки пытались короткими перебежками продвинуться вперед, видать, под действием матюков командиров, а вообще-то почти весь батальон залег и ждал, наверно, как великого счастья, команды "отход"… А когда танки возвратились в лес, начали и бойцы пятиться, кто ползком, а кто и перебежками.

— Ну все, амба, — прошептал Костик, лежавший вместе с ротным, наблюдая за вторым батальоном.

— По-видимому, так… Очень жаль, но такие наступления обречены на провал.

— А мы на учениях ходили за огневым валом. Ну, думал я тогда, так воевать можно. А здесь с одними родимыми, образца 1891/30 потопали. Вы что-нибудь понимаете, командир? В чем тут дело? Выслуживается наш комбриг или ему свыше приказывают? И зачем это, сразу с марша, истомленным бойцам и — в бой.

— Кое-что понятно, Карцев… Как не жалели людей в мирное время, так не жалеем и сейчас.

— Видите, отступает второй. Кто живой, — показал Костик

рукой ни поле.

Да, живые отходили, раненые отползали, а убитые остались лежать на поле серыми комочками, и было их много. Очень много. Больно смотреть на это, но и злость берет на кого-то, кто так бездумно и бездарно швыряется человеческими жизнями. Ротный тихо, почти шепотом выматерился, выкидывая из себя этим и боль, и обиду, и горечь. Они, не поднимаясь, потому что шел еще минометный обстрел по деревне, закурили, и тут решился Костик спросить, почему так безропотно отдали ротный и политрук бойца Журкина особисту.

Ротный долго молчал, а потом, безнадежно махнув рукой, ответил:

— Ничего не поделаешь тут. Карцев. Мы даже здесь, на фронте, не можем избавиться от страха перед органами. Немцев вроде не боимся, смерти тоже, а их… Иррациональность какая-то дьявольская…

Слово "иррациональный" Костик не знал, но понял — это что-то такое, что от человеческой воли не зависит… Вскоре обстрел деревни прекратился, и они смогли подняться, чтоб пройтись и посмотреть, что понаделали немцы своим налетом, но те вели огонь, судя по воронкам, из ротных минометов, а потому разрушений домов не было. Это и обрадовало, и насторожило, видать, не хотят они рушить обжитую ими деревню, а значит, будут ее отбирать. Последнее пугало, уж очень ненадежно и неприютно здесь, вдалеке от основных частей.

На пути встретились им папаша и Мачихин. Хоть и не было в них полного согласия, но все же они дружили, потому как и возраста почти одного, и деревенские оба.

— Что же это творят, товарищ ротный? — обратился папаша. — Разве так наступают? Это же смертоубийство, а не наступление.

— Согласен с вами, Петрович.

— Да мы в гражданскую умнее воевали.

— Не уважают у нас жизнь, — заметил Мачихин, высказав мысль, которая поразила ротного.

— Как вы сказали? Не уважают жизнь? Да, по-видимому, это так. — И ротный с интересом стал разглядывать Мачихина, будто в первый раз его видел. Эта мысль удивила и Костика — не дурак этот сельский счетовод, подумал он, и предложил Мачихину закурить. Тот взял фрицевскую сигарету, прикурил, затянулся и покачал головой:

— Дерьмо табак-то… — но не бросил, конечно, сигарету — на безрыбье и рак рыба.

— Как вы думаете, товарищ ротный, начнут фрицы отбивать

деревню? спросил папаша.

— Боюсь, что начнут.

— Не удержим. Как дуриком взяли, так дуриком и отдадим, — высказал Мачихин то, о чем уже говорил.

— Надо удержать, — сказал ротный обычное, а что другое можно было сказать, другого от него и не ждали.

А серый мартовский денек между тем отходил… Потемнело небо, изъеденный оттепелями снег на поле, который и так не был белым, совсем потемнел, а лес, из которого начали они наступление, стал вроде еще дальше, и это наполняло сердца тягомотным страхом: многим не добраться до него, ежели выбьют их. И вообще предстоящая ночь томила предчувствием: должно что-то случиться страшное, чего не избежать, что неминуемо.

Когда они все подошли к избе, увидели, как политрук провожает особиста и тех, кто с ним. Он провел их до хода сообщения, по которому они должны добраться до немецкой обороны, а оттуда уже придется им прогуляться по полю боя до оврага, а это метров сто пятьдесят, двести. Тут их, конечно, заприметит фриц и обстреляет беспременно.

Ротный пошел в избу, а Костик попросил остаться, чтоб посмотреть, как доберутся особист с Журкиным и связным до оврага. Политрук остался у хода сообщения и, видно, тоже решил понаблюдать за ушедшими. Карцев постоял у избы недолго, а затем пошел налево, к другому ходу сообщения, тоже ведущему к немецким передовым окопам, оттуда виднее, как будут проскакивать открытое пространство особист и другие. Не знал он пока, для чего ему это нужно, но потянуло почему-то именно туда, к немецкому переднему краю.

Через некоторое время увидел он, как высунулись головы из окопа, осматривались, видать, а потом вылез Журкин и, понукаемый особистом, услышал Костик его голос, приказывающий "вперед", — бросился бегом по полю к оврагу. Брызнувшая с Панова пулеметная очередь заставила его залечь, а, возможно, и ранило, отсюда не понять. Лежал он долго. Не вылезали из окопа и особист со связным — напугались, видно… Потом Карцев снова увидел голову особиста, высунувшуюся из окопа, и услышал его голос, дающий команду Журкину бежать дальше. Вот гад, подумал Костик, сует под огонь других, а сам выжидает подходящего момента, чтоб проскочить опасное место. Однако Журкин не поднимался, и тогда выкарабкался с трудом — рука-то одна ранена — связной и побежал к Журкину, конечно, по команде особиста. До Журкина вроде бы он добежал и плюхнулся рядом, наверное, если судить по расстоянию, которое он пробежал…

Костик вынул сигареты, прижег и жадно затянулся… Теперь он напряженно ждал момента, когда выскочит сам особист. Немцы зря патронов не тратили, по лежащим не стреляли, но наверняка наблюдают, курвы, и как только кто-нибудь поднимется и побежит, резанут очередью…

То же самое наблюдали папаша и Мачихин из другого окопа, который левее, и тоже возмущались поведением особиста. Папаша проворчал: "У, сволота…", а Мачихин сказал спокойно: "Чего удивляешься, Петрович?"

Тем временем ротный обходил наскоро состряпанную оборону и беседовал с бойцами. Точнее сказать, не обходил, а обползал, так как находилась часть роты на самом краю деревни, бойцы притулились за чем попало, кто около дерева (были тут большие липы), кто за каким-либо холмиком на местности, кто за углами изб, а кто-то устроился и в самих избах, в которых окна выходили на лесок, занятый немцами… Все это хлипко, ненадежно. От пуль, может, и спасет, но если прицельно будут бить минами этот краешек, то, конечно, поранят и поубивают. И ротный, и все бойцы это понимают, а потому у всех на душе муторно, беспрестанно холодком покалывает сердце. Если и была у кого радость, что взяли все-таки деревню, выбили фрицев, то сейчас она прошла. Чего тут радоваться, когда впереди неведомое и не менее притом страшное. Хоть бы подмога и пушки прибыли, все же полегче стало б, а то ведь мало народа и, кроме стрелкового оружия, ничего нет. Вот и делились с ротным своими сомнениями и, чего уж тут, страхами. Ротный, конечно, как и положено, подбадривал их словами, которые завсегда в таких случаях говорят, — ничего, ребятки, как-нибудь выдюжим, главное, удержаться здесь, обязательно поддержит нас батальон, не может не поддержать… Такие дежурные слова всерьез никто не принимал, никто в них не верил, недолгий опыт подсказывал бойцам, что порядка на войне мало, что делается все наобум, на авось и никто всерьез об их солдатской судьбе не печется. Подполз ротный и к Жене Комову, которого сержант Сысоев назначил на пост, — старший лейтенант впервые обратил внимание на этого мальчика-бойца с почти детским интеллигентным личиком, и его почему-то резко ударила жалость к этому мальцу.

— Сколько же вам лет? — спросил он.

— Семнадцать, но я прибавил себе год, — слабо улыбнувшись, ответил Женя.

— Зачем? Никуда от вас война не ушла бы…

— У нас в классе почти все мальчики таким образом пробились на фронт. Мы боялись, что вдруг война через год

кончится, и мы не успеем…

— У вас, по-моему, температура. Вы дрожите…

— Нет. Это я после боя еще не успокоился, — сказал Женя с все такой же слабой и беззащитной улыбкой.

Ротный недолго подумал, а потом решил:

— Я снимаю вас с поста. Идите в избу, в которой командный пункт.

— А что я там буду делать?

— Ранило ротного писаря, будете вместо него.

— Мне бы не хотелось, товарищ старший лейтенант.

— Не глупите. Выполняйте приказание, — и ротный, взяв его за воротник шинели, потянул назад, — ползите за мной.

Комову ничего не оставалось, как подчиниться. Разумеется, в избе было лучше, горела печурка, от которой шло тепло, а бревенчатые стены дома казались солидной защитой, и его охватила тихая радость от этой временной безопасности, в которой он пробудет какое-то время до боя. Он устроился у печки. Около нее сидел один из телефонистов и курил, глядя в огонь.

— Ну как там? Не шебаршат фрицы? — спросил телефонист.

— Пока нет, вроде. Все спокойно.

— Покурить хочешь?

— Не-е… Я не курю.

Телефонист поначалу удивился, но, когда глянул на Комова, покачал головой: чего таких пацанов на войну берут, а потом спросил, не видал ли он ротного?

— Видал. Оборону обходит.

— Оборону… — презрительно сморщившись, выдавил телефонист. — Звонил ему помкомбата, как стемнеет, грозится прийти к нам. А что нам от него толку? Мальчишка, вроде тебя. — Сделав несколько последних затяжек, он бросил окурок в печку и раздумчиво сказал: — Я два года в кадровой и в пехоте, так вот мы копали, копали, но всегда летом, а зимой, во-первых, никаких учений не бывало, во-вторых, мерзлую землю никогда не рыли. А воюем-то зимой, и ни кирок, ни ломов, ни даже больших саперных лопат в ротах нету. Вот и ползаем по переднему краю, ищем ямку какую, чтоб в нее залечь… Выбьют нас отсюдова немцы, помяни мое слово.

В заключение телефонист зло выматерился и стал свертывать вторую цигарку. Комову же, попавшему в теплую избу и отогревшемуся, положение их не казалось уж таким безнадежным, тем более надеялся он и на пополнение, и на пушки, которые обязательно должны прибыть, как обещал ротный. Вскоре, прикорнув у печки, он задремал и проснулся

лишь тогда, когда в избу шумно вошел Костик Карцев, с порога прохрипевший:

— Вот сука, так сука. Знаешь, малыш, что особист придумал? Журкина взял за руку, чтоб он его слева прикрывал, а связному приказал сзади себя идти. Вот так и побежали они. От немцев Журкин особиста прикрывал, сзади, от нас, связной, на случай, если кто задумает шлепнуть его. Приметил же, падла, что в роте его возненавидели…

— Ну и что? Прошли? — с интересом спросил телефонист.

— Хрен-то! Зацепило всех троих вроде, а кого как — не знаю. Надо ротному доложить. Где он?

— На краю деревни был, — сообщил Комов.

— Пойду искать. — И Костик быстро вынырнул из дома.

Политрук тоже видел, как особист прикрыл себя с двух сторон бойцами, и тихо ругнулся, но когда все трое упали и долго не поднимались, он пошел обратно, чтоб послать кого-нибудь из бойцов к ним. Встретив по дороге ротного, он рассказал ему все, умолчав, правда, о том, каким подлым способом особист пытался обезопасить себя при переходе простреливаемого места. Тут навстречу попался им Костик, которому и приказал ротный узнать, что произошло на поле. Костику страсть как не хотелось ползти туда, но он сразу же сказал "есть" и рысцой побежал к немецким окопам. За ним повернули туда ротный и политрук.

Придется на пузе, решил Костик и, осторожно вылезши из окопа, споро пополз вперед по-пластунски, умело используя неровности местности. Что-что, а ползать его научили за два года кадровой. Раза три он передыхал и даже умудрился искурить сигаретку. Уже издали, чуть приподнявшись, он увидел только одного лежавшего — это был особист. Ни Журкина. ни связного не было. Видать, они за это время махнули в овраг, а поскольку не оттащили особиста, наверно, он мертв… Так и оказалось. У него была прострелена левая часть груди, вторая рана была на ноге. Крови почти не было, рана в грудь, видимо, была смертельна… Костик вздохнул, хотя ему нисколько не жаль было особиста, но все же смерть есть смерть…

Но вот что поразило Карцева: примят снег около тела, расстегнут ватник, в который был облачен особист, чтоб скрыть командирские ремни и знаки различия, знал, видать, что на передок лучше идти в красноармейском. А еще больше удивило Костика, что под расстегнутым ватником не обнаружил он ни командирского широкого ремня, ни планшета, ни кобуры с пистолетом, а когда полез в карман гимнастерки за документами, то ничего и в них не обнаружил… Опередил кто-то Карцева! Но кто? И Журкин, и раненый связной могли бы взять документы и

пистолет, как положено, однако зачем им ремни и планшет? Нет, кто-то другой орудовал, но кто? Кому все это понадобилось? И еще одну странность заметил Костик: небольшая дырка в ватнике была спереди, а выходное отверстие на спине, оно всегда больше. Немцы же могли стрелять только с Панова, то есть слева…

Тащить тело особиста в деревню не было смысла, его свои хоронить должны, да и тяжело… Можно было подползти дальше, к оврагу, и крикнуть Журкина — может, он там ховается, но стоило ли лишний раз жизнью рисковать, ему еще обратно ползти, а здесь каждый лишний метр смертью грозит. И. передохнув еще немного, Костик двинулся назад.

Доложив ротному об увиденном, Костик высказал предположение, что Журкин, ежели ранен, то пошел в тыл, а если нет, то ждет, наверно, темноты, чтоб в роту вернуться.

— А точно ли мертв особист? — спросил ротный.

— Точно, товарищ командир.

— Кто же мог забрать документы и пистолет, да еще и ремни? — озабоченно сказал политрук и внимательно поглядел на Костика. — Это ЧП. Может, немцы?

— Нет, немцы за это время не успели бы. Им всю деревню обогнуть бы пришлось, — уверенно заявил Костик. Согласился с ним и ротный.

— Мда… задумался политрук. — Плохая история. Взято с определенной целью. С такими документами делов натворить просто. Карцев, может, есть в роте кто из уголовников?

— Официально нет, — сказал ротный.

— Официально-то я лучше вас знаю. Но, может, кто по-товарищески трепанул, что в лагере был?

— Я не слыхал ни от кого, — сказал Костик. — Нет, по-моему, у нас в роте таких. Я же якшался с блатными в своей Марьиной роще, узнал бы по одному разговору. Нету у нас из них, товарищ политрук.

— Тогда это сделал враг. Тогда, может, и не немцы убили особиста, твердо заявил политрук. — Но все же, Карцев, сходите-ка сейчас во взвод. Может, узнаете что?

— Есть сходить, товарищ политрук.

Когда Карцев ушел, политрук с тревогой спросил ротного:

— Что думаете по этому поводу?

— Пока не знаю.

— Документы взяты не зря, это ясно. Возможно, тот, кто взял, перейдет ночью к немцам. Тогда нам беда. За подлинный документ начальника Особого отдела немцы отблагодарят. На это тот тип и надеется, для того и взял документы, чтоб не с пустыми руками перейти. Плохо наше дело, старшой.

— Не надо паниковать. Придется, наверно, обыскать всех.

— Обыскать? — усмехнулся политрук. Кто же при себе держать такое будет? Припрятал наверняка. А всю деревню не обшаришь. Тут думать надо, старшой. И крепко думать… — Политрук вынул кисет и стал свертывать цигарку.

Сделав несколько глубоких затяжек, спросил:

— Вы что-то слишком спокойно отнеслись к гибели особиста. Не жалуете эту публику?

— Мне рассказал Карцев, как подло он поступил, прикрыв свою значительную особу двумя рядовыми. Вы, кстати, это тоже видели.

— Видел. Мне тоже не понравилось это… А вообще как к ним относитесь?

Ротный резко повернулся к нему, посмотрел выразительно и отрезал:

— Нам сейчас с вами не до посторонних разговоров, политрук. О другом думать надо — как деревню удержать.

— Понимаю… Вы не подумайте только, что я провоцирую вас. Нет. Я по-простому, старшой. Помню, как в 37-м обкомы и райкомы громили. Тогда не понимал и сейчас не понимаю. Может, нам с вами на ты перейти? Одной веревочкой связаны, обоим тут насмерть стоять придется. Правда, мало мы знакомы, но в бою вроде оба вели себя неплохо. Ну что, старшой? — протянул руку политрук.

— Хорошо, — принял его руку ротный.

— Вот и лады, — как будто обрадовался политрук. — А теперь скажи, если не трудно, ты же из этой самой… интеллигенции? Да?

— Да, из этой самой, — чуть усмехнулся ротный.

— Родителей-то, наверно, притесняли после революции?

— Да не особенно. Обошлось как-то. Отец-то погиб в той войне.

— Офицером был?

— Да.

— Дворянином, значит?

— Нет. Из вольноопределяющихся… А мать — дворянка, — вроде бы с вызовом произнес Пригожин.

— Вот оно что?… Все скрывают, а ты мне, политруку, напрямик.

— А разве дворяне плохо Россию защищали? Все "великие предки", о которых Сталин говорил, из дворян, между прочим, — уже усмехаясь, сказал ротный.

— Это оно так, конечно…

— Знаешь что, политрук, мы оба с тобой русские люди, и

Россию я люблю не меньше тебя, а может, и больше, потому что у меня есть прошлое. Давай-ка больше биографий не разбирать. Понял?

— Конечно. Да я доверяю тебе, не сомневайся.

Так, за разговором, подошли они к штабной избе, приостановились.

— Как думаешь, помкомбату будем докладывать о случившемся?

— Подождем пока, — ответил ротный, подумав.

— Самим бы выяснить надо. Я по взводам пойду, старшой. — И политрук тронулся в сторону так называемой обороны. Там и встретился с Костиком, который, сообщив, что ничего узнать не удалось, высказал затем наболевшее:

— Товарищ политрук, мы вот почти всех людей на одном краю деревни выставили, а ведь фриц ночью окружить нас сможет. Надо круговую оборону организовать. Помню, на учениях мы завсегда так делали.

— Соображаешь. Карцев, — одобрил его политрук.

— Что тут соображать? Два года кадровой протрубил, кое-чему научили, да я и сам старался, чуяло сердце, не отслужу мирно кадровую, доведется хлебнуть лиха.

— Не зря чуял… А для меня вот война, как обухом по голове, надеялся очень на наши соглашения с Германией.

— Обхитрил нас Гитлер, чего уж тут… Дали мы промашку.

— Ну-ну. Карцев, ты в большую политику не лезь, не нашего ума это дело… А насчет круговой обороны ты молодец. Как прибудет ночью пополнение, расположим его в старых немецких окопах, обезопасим себя с тыла, — политрук прикурил потухшую цигарку и, помолчав немного, продолжил. — Вы с ротным земляки вроде?

— Да, в одном районе в Москве жили.

— А знакомы не были?

— Вы что, политрук, думаете Москва деревня какая, где все друг друга знают? В одном нашем Дзержинском районе, почитай, около пятисот тысяч жителей, — не скрыл Костик превосходства москвича перед селянином, слыхал, что политрук в сельском райкоме инструктором, что ли, работал.

— Это я понимаю. Но бывают же случаи…

На этом разговор кончился. Политрук отправился сержанта Сысоева искать, а Костик в штабную избу пошел.

Ротный же, как вошел в избу, так приказал Жене Комову идти по взводам, чтоб от взводных строевые записки получить. Тот даже обрадовался какому-то делу и живо отправился выполнять приказание. По дороге наткнулся он на сидящих на завалинке

папашу и Мачихина. Лица у обоих были нахмуренные, вроде чем-то озабоченные. Однако папаша спросил:

— Живой пока, малец?

— Живой, — весело ответил тот. — Ротный меня в писаря взял.

— Это хорошо. Парень ты грамотный, перо с ручкой тебе сподручней, чем винтарь-то. Небось, еле таскаешь родимую? Ну, ты иди, куда шел, тут у нас с Мачихиным свои разговоры, — сказал папаша, увидев, что Комов приостановился и расположен к дальнейшей беседе.

Когда Комов отошел па порядочное расстояние. Мачихин спросил:

— Не жалеешь, Петрович?

— А чего жалеть? Мне думается, промазал я. В самый последний миг рука дрогнула. А потом я же в ноги целил.

— Я не про это, а про то, что при мне сие было.

— Ты свой, деревенский… Тоже "товарищами" обиженный… Верю я тебе.

— И правильно, ты, Петрович, во мне не сумлевайся. А греха я в том не вижу.

— Грех он, конечно, есть. Но нашему брату за всю нашу жизню разнесчастную Господь Бог все грехи отпустить должон, — заключил папаша и перекрестился.

После этого долго молчали, покуривали… Затем Мачихин сказал обеспокоенно:

— Показалось мне, Петрович, что кто-то смотрел за нами. Чуял я это… Тогда хана нам с тобой.

— Какая хана? — небрежно бросил папаша. — Ты что, надеешься живым отсюдова выйти? Хрен-то… Пойдут германцы отбивать деревню — всем нам крышка. Ну, а если… продаст кто?… Пока винтарь у меня в руках, расстрелять я себя не дам, отбиваться буду, — твердо сказал папаша.

А не зря чуял Мачихин… И верно, видел один человек, как пробирались они по окопу и как грянул оттуда папашин выстрел… Он тоже направлялся тем же путем, имея цель, которую попытался бы осуществить, независимо от того, что наделал особист у них. Ему нужны были документы особиста и его пистолет. И это был тот самый красноармеец, лицо которого Костику показалось знакомым…

Тридцатилетний рецидивист по кличке Серый проживал в свое время в Лаврах и находился к началу войны в бегах и во всесоюзном розыске. По чужому документу пришел он добровольцем в военкомат, где шла массовая мобилизация и было не до проверок.

Пришел, конечно, не защищать родину, а потому, что при повальных проверках документов, производимых везде — и на улицах, и в поездах, и в квартирах, ему и месяца не прожить бы на свободе. А в армии он в безопасности, и не вся армия воюет, можно и в тыловые части попасть. Там до конца войны прокантоваться. Но угодил он на фронт, да еще и в пехоту, где жизнь — копейка, отдавать которую ни за советскую власть, ни за страну он не хотел, а потому еще на формировании твердо решил дезертировать, подвернись подходящий случай.

И потому, как только появился особист, он постоянно следил за ним и тщательно обдумывал, как добыть его "ксиву". Он еще до обстрела деревни нырнул в немецкий окоп, потом вылез на поле и дополз до оврага, где и притаился как раз напротив тропки, по которой и должен пойти особист.

Разумеется, как и предполагал политрук, он спрятал все взятое у особиста и ждал ночи, чтоб податься в тыл… Конечно, Серый никому о себе не рассказывал, словечек лагерных не выбалтывал, держал себя неприметно, не высовывался зазря, команды командиров выполнял охотно, ну и в наступлении вел себя умело, вперед не рвался, но и не отставал от других. К опасностям он привычен был, жизнью рисковал не раз, и мог бы, наверно, из него хороший разведчик получиться, наверняка и орденов бы нахватал, но ему эти железки ни к чему, дурной он, что ли, чтоб за них жизни лишиться. А жизни-то он и не видел. Первый пятилетний срок получил семнадцати годков, а второй

десятилетний — перед войной заработал, просидев два до побега. Нет, подыхать на войне ему ни к чему, ему жизнь настоящая нужна, с вином, с бабами, с деньгами и дружками, которыми он верховодить будет, как верховодил еще мальчишкой лавровской шпаной.

Стемнело на передовой… Сквозь свинцовые тучи тускло, но кроваво мерцало на западе заходящее солнце… Усталость наваливалась на всех в роте. Дремали бойцы и на постах, и в избах, и на воле. Да и немудрено — три ночи топали к передовой, на дневках, на холоде, какой сон, кормили всего два раза — утром и вечером, перед маршем, и жратва была слабая — пшенка жидкая и хлеб замороженный. Откуда силы взять? Вот и день этот в занятой деревне прошел как в полусне, а к вечеру и совсем невмочь, в ногах слабина, глаза слипаются, в голове туман… И наряду со всем этим глухое, подспудное предчувствие, что ждет их впереди страшное… Но и это предчувствие не могло пересилить усталость и безразличие, которые вдруг навалились на них.

В штабной избе, в тепле еще хуже в дрему валило… И ротный, и политрук, и Костик, не говоря уж о Жене Комове, дремали сидя. Только пришедший с докладом сержант Сысоев сидел на табурете прямо и смолил цигарку, вбирая в себя тепло от печки, чтоб запастись им на ночь, которую должен быть с бойцами своего взвода… Когда узнал он о гибели особиста, сам сползал к телу, сам все обсмотрел и обследовал и заявил политруку, что, несомненно, кому-то оказались нужны документы особиста и что он, Сысоев, кровь из носа, но расследует это дело. Но как его расследуешь, когда ни на кого в роте нет у него подозрения, все люди как люди, и вроде не видать среди них ни врага, ни блатаря-уголовника. Даже папаша из раскулаченных, хоть и треплет много, не вызывал у сержанта подозрений, потому как настоящие враги не болтают зря. Сысоев весь остаток дня торчал в роте среди бойцов, вел разговоры и пронизывал взглядом то одного, то другого, но все были измучены, до разговоров не охочи, отвечали вяло и односложно, и, как ни старался Сысоев проникнуть в души и сердца солдат и командиров, ничего у него не вышло, ни у кого не приметил он душевного беспокойства.

Передохнув и малость согревшись, Сысоев тихонько поднялся, чтоб не обеспокоить начальство, и вышел из приютной избы в темень и холод — и посты надо проверить, и наказы дать строгие, чтоб не вздумали дремать, враг-то близок, метров четыреста, можно заснуть и не проснуться. Говорили ему бойцы из сменяемой ими части, что орудуют тут финны, которые в

маскхалатах и на лыжах подбираются, как тени, к нашим постам и забирают языка, а остальных безжалостно вырезают кинжалами, чтоб шума не поднимать. Об этом и надо напомнить бойцам…

Когда он уходил, ротный открыл глаза и стал завертывать цигарку. Очнулся от дремы и политрук и тоже взялся за кисет. Закурив, они помолчали немного, а затем политрук спросил:

— Почему ты не в партии, старшой? По соцпроисхождению не приняли, что ли?

— Да нет, оно ни при чем. Не подавал я…

— Отчего же? Не согласен с линией партии?

— Не дорос, политрук, — усмехнулся ротный.

— Это ты-то не дорос? С высшим образованием… покачал он головой.

— Не подкован я политически. Понимаешь?

— Шутишь?

— Шучу. Ты брось меня допрашивать, политрук. Каждый у нас волен и вступать в партию и не вступать. Добровольное же это дело?

— Конечно, добровольное. Вот сейчас и вступай. Рекомендацию тебе дам.

— Не заслужил еще, — так же с улыбкой ответил ротный. — Мало еще воюю. Вот возьмем мы с тобой еще пяток занятых немцами деревень, тогда можно и подумать.

— Ну, ежели ты из скромности, то понимаю. Партия — дело серьезное, разумеется. На всю жизнь надо себя ей отдать. Ну, я напомню тебе на пятой деревне.

— Напомни, напомни… Если доживем до пятой-то…

Политрук выяснил, что хотел, и теперь определил свое отношение к ротному: мужик честный, верить можно, ну, а происхождение — черт с ним. Удовлетворен он был и тем, что свой партийный долг выполнил, да и просьбу особиста тоже пощупать ротного, определить, каков он человек, инженер этот. Надо сказать, что в разговоре пришлось ему покривить душой, когда сказал, что не понимал и не понимает того, что творилось в 37-м и 38-м. Нет, сомнений у него тогда никаких не было, верил он и Сталину, и партии, и все, что делалось в те годы, принимал безоговорочно, а как же иначе, когда партия сделала из него человека и, дала ему все. Кем бы он был без нее, без революции? Батрачил бы на какого-нибудь кулака, а сейчас он человек государственный, партийный и дана ему власть людьми командовать. И поучать, и за идейно-моральный облик их отвечать.

Когда совсем стемнело, ротный стал звонить помкомбату насчет пополнения и сорокапяток, тот поначалу пообещал, а

через некоторое время позвонил сам и сказал, что обстановка изменилась и сделать это невозможно.

— Вы знаете, сколько у нас народа?

— Знаю, знаю… Продержишься, тем более, говорят, немцы ночью не воюют. Может, к рассвету пришлю тебе обещанное.

— Мало ли что говорят, а вдруг пойдут?

— Ты бди, ротный. Сам не спи и людям не давай.

— Люди измучены донельзя. К тому же голодны.

— Нам тоже жрать не принесли. Терпи, дорогой. Терпи. Все, — закончил разговор помкомбата.

Ротный удрученный отошел от телефона… Позвав Карцева, он приказал разыскать Сысоева…

Серый и на формировании, и на марше не сблизился ни с кем, хотя в отношениях с бойцами был дружественен, от разговоров не уклонялся, короче, старался не выделяться, хотя в глубине души презирал это стадо, безропотно шедшее на убой за какую-то там советскую власть, которая никому ничего не дала и ничего хорошего для людей не сделала. Он жил вне общества с юности, а детство его было безрадостным и голодным. Отец сгинул в Соловках, был он вором "в законе" с еще дореволюционным стажем. В последний раз появился в Лаврах в году двадцать седьмом, пробыл недели две, пил сам, поил дружков, в доме было море разливанное — и еды всякой вдоволь, и приодел жену с сыном. Взяли его не дома, а где-то на малине, писем он не писал, и только в 34-м зашел к ним отцов однолагерник, либо освобожденный, либо находящийся в бегах, и сообщил матери, что отец приказал долго жить, что убили его охранники при побеге…

Но все же, несмотря на легкое презрение к однополчанам, Серый чувствовал себя тут среди своих. Напоминала чем-то армия лагерь — такая же масса людей, сосредоточенных в одном месте, такая же несвобода, такие же начальники, которым надо беспрекословно подчиняться, ну, а вместо лесоповала работа, не такая, может, тяжелая, но зато смертная, где выжить труднее, чем в лагере. Потому побег отсюда был для него тем же, чем и побег из лагеря делом достойным, необходимым… И так же, как и при побеге из лагеря, он не ощущал вины перед оставшимися, так и сейчас у него никаких чувств не вызывало то, что он уйдет, а эти останутся тут на погибель. "Ты подохнешь сегодня, а я завтра" — закон лагеря, закон тайги, который вошел ему в плоть и кровь…

Когда сержант Сысоев стал отбирать бойцов в старые немецкие окопы, чтоб организовать оборону тыла деревни. Серый обрадовался, что сержант назначил и его туда, — не нужно будет ему пробираться через всю деревню, удача сама в руки идет.

Главное, с передовой выбраться, а в тылах да с такой ксивой он не пропадет…

В то же самое время в штабной избе зазвонил телефон и спросил помкомбата, когда от них особист ушел, беспокоятся, дескать, в штабе, не случилось ли что?

— Случилось, — ответил ротный. Убило его на обратном пути. Только недавно мне об этом сообщили.

— Вот черт возьми! Предупреждал его — не ходи, ан нет, полез из-за этого говна — листовок. И надо же угодить было в наш батальон. Давай, выделяй людей, пусть притащат тело.

— Сейчас не дам, какие у меня люди! Четырех надо, а у меня каждый на счету. Доложите в штаб, пусть своих пришлют.

— Они пришлют… Ну, бывай, и зубами держись за деревню-то.

Политрук прислушивался к разговору, а по окончании его занервничал, заходил по комнате.

— Затаскают нас с тобой, ротный… Кабы не документы… Может, на немцев свалить? А? Что они забрали? Думай! Вдруг за телом придут, что скажем?

— Не придут, не бойся, успокоил его ротный. Выкинь это, нам бы ночь продержаться.

— Не выходит выкинуть-то… И мне, и тебе достанется. И Журкин этот хренов пропал. И связной особиста. Куда подевались?…

И тут, легок на помине, в избу вошел бледный и взмученный Журкин, трясущийся то ли от того, что замерз, то ли от нервов. Вошел, встал, щурясь от света…

— Рассказывай! — бросился к нему политрук. — Где болтался, куда связной особиста делся?

— Убило старшего лейтенанта…

— Мы это знаем. Что дальше было?

— Как полоснуло нас очередью, упали мы все вместе. Вначале лежали, замерши, потом, когда немцы перестали стрелять, увидели — убит старший лейтенант…

— Документы, пистолет не взяли? — перебил его политрук.

— Не-е… В рост мы уже побоялись, ползком до оврага… Связной раненый в тыл пошел. Я его проводил немного, а потом стал темноты дожидаться… Вот и пришел… Закурить не даст кто-нибудь?

Карцев сунул ему в рот сигарету, прижег.

— Садитесь, Журкин, — сказал ротный.

— А вы не видали, к телу особиста никто не подходил?

— Не смотрел я на него, я в овраге ховался.

— Но, может, связной документы и оружие взял? Вспомни! —

напирал политрук.

— Не до того нам было, мы повернуться боялись, куда там по карманам шарить… Засекли бы нас фрицы.

— Почему же связной не доложил о гибели особиста? — подумал вслух политрук.

— У него боли сильные начались. Небось, сразу в санвзвод, а оттуда и в тыл потопал. Кому охота раненному на передке торчать? Ждать, чтоб добило? Да и слабый он очень стал, крови-то много потерял, — объяснил Журкин для себя очевидное.

Вопросов больше политрук не задавал. Через некоторое время Журкин попросил начальство разрешить ему посидеть еще недолго в избе, чтоб согреться, а уж потом он в роту пойдет. Ротный разрешил, конечно, а Журкин тут же, сидя на табурете, и заснул…

Спустя немного пошли ротный с Карцевым и политрук проверять посты… Телефонисты задремали у телефонов, Комов тоже…

Тихо было на передовой… Хлопки осветительных ракет, пускаемых немцами с Усова и Панова, слышны не были, а из леска, куда отступили немцы, ни одной ракеты не выпустили, что, разумеется, насторожило и ротного, и Карцева. То ли понимали немцы, что остатки роты, измученные боем, не станут их беспокоить, то ли собирались подобраться к деревне в темноте?…

В бывших немецких окопах расположилось всего двадцать бойцов — маловато на всю протяженность. Люди находились далеко друг от друга, видимой связи между ними не было. Если убьет кого немец, другой не увидит и не узнает, но что поделаешь, большие потери в роте… К тому же и из этих двадцати не все бодрствовали, приходилось ротному и Карцеву их будить… Ротный не материл, убеждал только, что нельзя спать, чтоб терпели до смены, иначе каюк всем, ежели проморгают они немецкую ночную атаку. Карцев же по-свойски проходился матерком, зная, что крепкое русское слово взбодрит бойцов лучше, чем интеллигентные разговоры ротного, особливо если мат с прибаутками, а он знал их множество.

Дошли они по окопу и до Серого, который по красноармейской книжке Петром Егоровым значился. Тот не дремал, выглядел бодрее многих и, главное, спокойнее. Кроме законного винтаря, лежал рядом с ним немецкий автомат. Приготовлены были и гранаты на бровке окопа. Автомат он приготовил, потому как мало ему было пистолета, мало ли что случится. Винтовку он, конечно, оставит в окопе, а трофейный автомат подозрения не внушит, знал он, что тыловики страсть как любят трофейное оружие.

— Как дела? — спросил ротный.

— Полный порядок, товарищ командир, — улыбнувшись, ответил Серый. Встретим фрица, ежели что, как полагается.

— Вижу, что приготовились, — одобрительно сказал ротный. — Только не дремать.

— Как можно, товарищ командир. Насчет меня будьте спокойны. Я не подведу, — уверенным тоном и солидно заверил Серый.

— Надеюсь.

Когда отошли от Серого и двинулись дальше, спросил ротный, не знает ли Костик этого бойца.

— Вроде москвич он тоже… А более ничего не знаю, в разных взводах были. Но парень вроде надежный.

— Мне тоже так показалось…

Около часу ночи возвратились все в штабную избу… У Костика, конечно, в НЗ оказалась еще одна бутылка немецкого рома и пачка трофейных галет. Достали кружки, поделили галеты, выпили за то, чтоб эта ночка прошла спокойно, снова вспомнили разговоры, что фрицы ночью не воюют, и, не раздеваясь, только сапоги сняв, улеглись кто где — ротный и политрук на постелях, Карцев на печку полез, а Женя Комов, как сидел на полу, прислонившись к стене, так и остался. Журкина и одного из телефонистов направили па пост около избы…

А через какое-то время, за час до смены, Серый осторожно вылез из окопа, убедившись предварительно, что два его ближайших соседа благополучно подремывают, и быстро пополз к оврагу. Там он, укрывшись шинелью, чтоб скрыть свет фонарика, переклеит свою фотографию заместо особистской, подмажет карандашом на уголке печать (был у него опыт в этом деле) и, малость передохнув, двинет дальше, к нашей передовой, где вряд ли стоит ожидать особой бдительности на постах ополовиненной в наступлении второй роты. Ну, а дальше загадывать нечего, дальше действовать придется по обстоятельствам…

Дополз он до оврага довольно скоро и, не став опускаться в него, присел на склоне, чтоб отдышаться, а может и искурить одну немецкую сигаретку, пару пачек которых, к тому же хороший кинжал с костяной ручкой, он, так же, как и Карцев, подобрал в немецких жилищах, обшарив их еще раньше Костика. Закурив и пряча сигаретку в рукаве, он глядел на покинутую им деревню, ощущая ту необыкновенную радость полной свободы, которую наконец-то добыл, не давая, правда, этой радости силы, потому как впереди ждет его разное, но первый шаг сделан, удался, а там уж судьба… И никаких угрызений совести не примешивалось к его радости, что бросил он свою роту, с которой

пробыл месяц формирования, трое суток ночного марша и принял первый бой, потому как не приноднился к ней, остались для него эти люди, как и были, чужими, он не испытывал к ним никаких чувств ни добрых, ни злых, просто они были ему безразличны.

И вот, покуривая тайно, он поглядывал все же на покинутую им деревню не забеспокоились ли там, не обнаружил ли кто его исчезновения, но там было тихо и спокойно… Однако вдруг каким-то чутьем ощутил он обеспокоенность, приближающуюся опасность. Он весь напрягся и слухом и зрением, погасил сигарету и спустился в овраг чуть дальше, но так, чтобы было видно вокруг. И тут мимо него, совсем близко шмыгнула какая-то тень, за ней вторая, третья. Серый сжался, сполз еще вниз и уже не зрением, а по движению воздуха почувствовал, как бесшумно мимо него прошло не менее двадцати немцев…

"Окружают, гады", — подумал он, и второй мыслью мелькнуло, что пофартило ему, вовремя ушел он из деревни, сейчас тут такая мясорубка начнется, что вряд ли кто живой из нее выберется. Надо, пожалуй, мотать скорее отсюдова, и он, наверное, мотанул бы, если б не увидел, как один из немцев залег над оврагом так близко, что он мог дотянуться до его ног в сапогах. Чуть приподняв голову. Серый смотрел, как устанавливал немец ручной пулемет, а справа, на ремне, заметил кобуру для большого пистолета… Парабеллум, наверное?… Прихватить второй пистолет показалось Серому совсем неплохо, и он тихо выпростал из ножен кинжал… Всего несколько движений корпусом, и он сможет ударить немца под левую лопатку, лишь бы не вскрикнул фриц… Надо сразу прижать его лицом к земле. Серый не спешил, немец, видать, никуда не денется, раз выбрал здесь позицию для ручника. Еще раз просчитав все в уме и выверив каждое свое движение. Серый подвинулся сперва на шаг, потом на второй, затем, приподнявшись на колени, что есть силы ударил немца кинжалом правой рукой, а левой прижал к земле его голову. Тот только еле слышно хрипнул и замолк… Вытащив из кобуры тяжелый пистолет с длинным стволом, он сунул его в карман шинели вместе с запасным магазином. Он не стал больше трогать тело и ползком спустился вниз, чтобы оврагом уже нормально, в рост, двинуться в тыл. Но, спустившись, он понял, что надо закурить, успокоить нервы, что ни говори, а все же порешил человека, а мокрых дел за Серым не числилось. По такой статье не привлекался. Убил человека он один только раз, но не ради добычи, а по пьяной драке на одной из малин, где его никто, разумеется, не продал, так как дело семейное. Труп увезли, захоронили в лесу, и всех делов…

Курил он жадными затяжками, но табак немецкой сигареты не продирал легкие, не успокоил, и он достал полпачки махорки и скрутил большую цигарку, которая его и удоволила. И как-то исподволь вспомнил, что дал ему эти полпачки малыш, Женя Комов, дал свою долю, не спросив за это ни хлебушка, ни сахарку… Вспомнил, и вдруг что-то прижало сердце: погибнет же паренек в этой катавасии. Потом почему-то вспомнился ротный, похваливший его два часа тому назад, которому тоже, конечно, хана, потому что будет он кричать "ни шагу назад" и убьют его одним из первых…

Ротный был таким же усталым, как и его бойцы. Он тоже почти не спал все трое суток марша, совсем не спал ночь перед боем, однако заснуть сразу, как заснул политрук, Карцев и другие, не мог… Он лежал и думал о том, что раз не дали ему подкрепления, то, видимо, никому не нужна занятая его ротой деревня, поскольку не взяты Усово и Паново, составляющие оборону немцев. Он выдвинулся со своей ротой почти на километр вперед, за ним простреливаемое противником поле, связь с батальоном ненадежна, так как в любую минуту телефонные провода могут быть перебиты, снабжение роты боеприпасами и едой почти невозможно даже ночами, и вообще получившийся из-за победы его роты выступ нашей обороны только лишняя и постоянная забота и боль для бригады, вроде больного зуба, который лучше поскорее вырвать.

Самое благоразумное было бы отвести роту сегодняшней же ночью назад, потому что развить наступление бригада, уже здорово обескровленная и не имеющая поддержки артогнем и достаточным количеством танков, вряд ли способна. Но приказа на отход не дают и не дадут, потому что уже пошли донесения, что Овсянниково взято, что есть успех, который нужно закрепить, а потому кровь из носа, но ни шагу назад… Но комбат, наверно, прекрасно понимает, что удержать деревню, даже усилив роту пушками и людьми, очень трудно, а потерять при том пушки и еще роту, за это по головке не погладят, вот и оставили их одних на авось: авось немцы не пойдут, авось удастся отбить атаку, ежели она и будет, авось удержатся, ведь советский человек все может… При последней мысли ротный горько усмехнулся.

Потом пришла мысль позвонить помкомбату с просьбой поговорить с командованием об отходе его роты из Овсянникова, но тут же понял бессмысленность этого… Подхрапывающий рядом на койке политрук повернулся и, открыв глаза, прижег потухшую цигарку.

— Не спишь, командир?

— Не сплю.

— Понимаешь, проснулся от страшной мысли: не дадут нам подмоги.

— Поздно догадался. Я давно это знаю, — ответил ротный и тут же сказал политруку, что никому оказалось не нужна занятая ими деревня.

— А мы, а люди?… С нами-то как? — обеспокоенно спросил тот. — Если же мы не удержимся, нас с тобой под трибунал отдадут.

— Наверно, — совсем безразлично процедил ротный.

— Ничего не понимаю, — в сердцах бросил политрук.

— Что тут понимать? Не профессионально воюем. Уж если наступать, то надо бы всей бригадой сразу на две деревни. Тогда Паново осталось бы у нас почти в тылу и немцам пришлось бы его покинуть самим. А сейчас мы оказались в таком положении. Окружить нас — раз плюнуть. Не доживем мы с тобой до трибунала, политрук…

— Не каркай. Я помирать не хочу.

— Я тоже. Никто не хочет, политрук, но по милости командования, боюсь, нам не отвертеться.

— Не рано ли панихиду заказываешь? — дрогнул голос у политрука, а потом, взяв себя в руки, уже тверже он сказал: — Все же вы, интеллигенция, слабы на изломе, сразу и помирать собрался.

— Я здраво и трезво смотрю на все, политрук. А насчет слабины на изломе, то видел я, какой мандраж тебя бил, когда на передовую пришли. Перед бойцами не стыдно было?

— Да, сробел я поначалу… — неохотно признался политрук.

— Все сробели, но не все подали вид.

— Да, не смог скрыть, ты прав. Как увидел этого… ну, у которого полтуловища осколком срезало, аж замутило и в глазах померкло.

— Ну и помалкивал бы… Что ты об интеллигенции знаешь? То, что тебе в политпросвете вякали? Мягкотелая, хилая и так далее? Не так это, политрук. Может, помнишь, как в "Чапаеве" каппелевцы в психическую шли? Неплохо шли…

— Неплохо, — усмехнулся политрук. — А ты случаем, не за них болел?

— Я за всех болел. Чего больнее, когда русские друг друга уничтожают.

— Не понимаю, — искренне удивился политрук. — Как можно за помещиков и капиталистов болеть? Ты что, ротный, закручиваешь?

— Поймешь когда-нибудь… А теперь пойдем посты проверять. Я на правый край деревни, ты на левый…

А у бойцов на постах с наступлением ночи нарастающая тревога все же не могла превозмочь усталость и сонливость… Слипаются глаза, и сам того не замечаешь, как в дремоту уходишь, а то и в настоящий сон…

Папаша и Мачихин договорились: один дремлет, другой бодрствует, но не получилось. Без разговора дремоту не уймешь, вот и решили эти три часа на посту обоим не спать, а разговаривать, тем более что поговорить было о чем, у обоих судьбы крученые, корявые, без радости и просветов…

— Понимаешь, у меня четыре девки было и двое парней, сила же. Сколько землицы поднять могли. А сейчас девки по фабрикам работают… Парень один воюет, другой па заводе броню имеет, может, живой останется… Как думаешь, Мачихин, распустит Сталин колхозы после войны?

— И не мечтай, Петрович… Не нужен ему вольный хлебопашец, он завсегда занозой будет для его власти.

— А я слыхал, что ходют такие разговоры…

— Пустое… Да и чего нам об этом мечтать? Война долгая будет, живым нам с тобой в этой пехтуре не остаться. Видишь, как воюем неразумно. Нам и эту ночку, может, не пережить, а ты вон куда заглядываешь.

— Я не о себе мечтаю… О сынах и девках, да и жена моя еще здоровая. Хоть бы они зажили по-старому, на своей земле, при своем дому, при своей скотине… — мечтательно произнес папаша и вздохнул глубоко, как бы со стоном.

— Я, Петрович, заказал себе думать об этом. Сломали нам хребет, уже не поднимемся.

— Так без надежды и живешь?

— Так и живу. Чего бередить душу.

— А я все же таю надежду… С ней воевать-то легче…

— Это оно так, — вздохнул и Мачихин. — Темень-то какая, Петрович. Не пущают немцы ракеты. Видишь, и из Усова, и из Панова запаливают, а у нас нет. Неспроста это.

— А чего им пущать? Они знают, что мы наступать не пойдем, вот и берегут.

— Хорошо бы, ежели так…

Серый уже несколько раз порывался уходить, но что-то удерживало его. Тем более, только он соберется, как увидит еще группку немцев, подтягивающихся к деревне, потом еще… Сколько же их, гадов, набирается? За сотню, наверно, уже будет. Ну и, конечно, к другому концу деревни тоже подтягиваются. Туда, возможно, и поболее… И, видать, хотят втихаря это сделать, подобраться совсем близко, чтоб одним броском к нашей обороне двинуть, а там все сонные-пресонные. Порежут своими штыками-

кинжалами, либо прикладами перебьют все посты, а там уж и огонь с двух сторон откроют, гранатами избы забросают, и никому, пожалуй, из этой деревни не уйти… Ну и что? Ему-то какое дело? Ему нужно уходить поскорее, а то вдруг, если стрельба начнется, пойдет по оврагу подмога, наткнется он на нее, пристрелят как дезертира без всяких слов…

Нет, двигать надо, двигать, — уговаривал себя Серый, но с места не трогался… Тут услышал он из недалека шепотливую команду, и поднялись все до того залегшие немцы и, пригнутые, осторожно подались к деревне… Идут, как тени, ничего у них не звякнет, все пригнано, как следует… Глядит им в спины Серый, почти все они как на ладони, только дальние не видны, а те, которые от оврага идут, видятся хорошо, особенно ноги на снегу…

И вдруг, будто кто-то толкнул в спину, одним рывком подбросило его к убитому, откинул он мертвое тело, залег за пулемет, на несколько секунд замешкался, ощупывая руками что где, и нажал спусковой крючок. Веером, сначала по ближним, а потом и по дальним немцам дал длинную очередь… Дал… и опомнился — чего это он? Зачем? Ведь жизнь свою и свободу подставляет. Хотел было нырнуть в овраг, но и тут будто кто-то вырвал из его горла отчаянный крик:

— Братва! Окружают вас фрицы! Ах вы, падло! — и снова припал к пулемету, и стрелял уже не прицельно, а по направлению, так же, веерком, по залегшим фрицам, стрелял до тех пор, пока не кончилась лента…

Тут пальба пошла со всех сторон. Кто стреляет, куда, свои или немцы ничего не разберешь, но ясно, что ведет рота бой… Не дал он немцам втихаря свое дело сделать, пусть и на этом спасибо свои скажут, а больше делать ему здесь нечего, драпать надо… Спустившись в овраг, Серый прошел по нему полпути, а потом вылез и — ползком по полю, это верней, здесь вокруг все видать, ни на кого невзначай не нарвешься…

Ротный, услышав стрельбу и крикнув: "Карцев, за мной!", первым выбежал из избы, бросившись направо, к той обороне передней, где и ждали немца. Но стрельба шла и слева, с тыла деревни, да и вообще отовсюду летели снопы трассирующих, и ротному пришлось двигаться перебежками, от избы к избе, иногда падая на открытых местах, чтоб уберечься от пуль…

Еще не добежав до края деревни, встретил он отступающих, огрызающихся ружейным и автоматным огнем бойцов.

— Остановиться! — закричал он, — стойте! — и дал поверх голов короткую автоматную очередь.

— Окружили нас! Выходить надо! — крикнул налетевший на

него и чуть не сбивший с ног боец.

А пока ротный разбирался с ним, схватив его за грудки и повернув лицом к противнику, мимо них бежали с ошалевшими физиономиями бойцы его роты, изредка останавливающиеся на секунду, чтоб пальнуть из винтовки или из автомата.

Карцев тоже пытался остановить ребят, но его не слушали, обтекали, продолжая драпать, выкрикивая на ходу, что надо прорываться из окружения, а то всем капут… Но все же ротному удалось остановить нескольких бойцов, и они, укрываясь за углами изб, открыли встречный огонь по немцам, которые тоже стреляли из-за домов. Кое-где раздавались и взрывы ручных гранат, своим грохотом на миг заглушая ружейную пальбу, и какое-то время, неслышимые, метались из конца в конец деревни нити трассирующих…

Ротный по августу сорок первого помнил страшные, вызывающие панику слова "окружение", "охват" и понимал состояние людей, хотя и не думал, что деревня полностью окружена. Передав Карцеву командование, он бросился к бывшей немецкой обороне и увидел во вспышках разрывов, что там идет рукопашная, в которой и днем не разберешься и которой командовать нечего тут каждый за себя и кто как сумеет. Он только крикнул во весь голос:

— Держитесь, ребята! Сейчас подмогу пришлю! — и бегом обратно.

А там тоже дошло до ближнего боя, и немцы, обтекая роту с флангов, грозя и тут окружением, медленно, но верно оттесняли бойцов к краю деревни, к своей обороне, и Пригожину ничего не оставалось, как вступить в бой, послав перед этим несколько бойцов на помощь тем, кому обещал. Ведя бой, он все еще надеялся, что помкомбат, услышав стрельбу, поймет, что немцы пошли отбивать деревню, и пришлет помощь. Возможно, их спас бы полный взвод с дельным командиром. Но если помощи не будет, оставалось лишь одно — смять немцев там, у окопов, и уходить…

Помкомбату доложили, конечно, наблюдатели, что идет бой в Овсянникове, да он и из своей землянки его услышал, и тут же стал звонить "первому", то есть комбату, майору Костину. Тот долго не подходил к телефону, видно, не сразу разбудили его телефонисты, и ответил голосом сонным и недовольным:

— Что, сам не знаешь, что делать надо?

— Знаю, но мне нужно ваше разрешение послать людей на помощь.

Комбат не спешил с ответом. Слышно было, как он попросил принести ему папирос, как зажигал спичку…

— Значит, так… Третью роту не трожь, она в резерве, а из второй выдели взвод и посылай…

— Взвода мало, товарищ комбат, — поспешно сказал помкомбат.

— Не перебивай! — повысил голос майор. — Всем устрой подъем, чтоб наготове были. Чем черт не шутит — выбьют немцы Пригожина и с хода к тебе нагрянут. Понял? Потому больше взвода тебе и не даю. Связи-то с Пригожиным нет?

— Какая связь!

— Тогда с комвзвода второй роты передай этому Пригожину: ежели деревню сдаст — расстреляю перед строем.

— Как это?… Пушек мы ему не дали, подкрепления тоже, а у него от роты дай бог человек семьдесят, и ни одного среднего командира, — убито пробормотал помкомбат.

— Рассуждаешь? Повтори приказание. А ежели ты этого Пригожина сильно жалеешь, иди сам со взводом, разрешаю. Пороху понюхаешь, может, умнее станешь. Понял?

— Понял, — постарался он придать своему голосу твердость.

Командиры второй и третьей роты находились тут же в землянке и в разговор вслушивались, а потому, как окончился он, начали расспрашивать.

— Ну, и что? — спросил командир второй роты.

— Выделяйте один взвод. И быстро на помощь первой роте. Может, я тоже пойду с ним.

— Есть выделить взвод, — поднялся тот и вылез из землянки.

— Ты что, всерьез задумал с ними идти? — на "ты" обратился командир третьей, старший лейтенант в летах.

— Да. Комбат разрешил.

— Разрешил — не приказал, а потому не глупи. Деревню все равно не удержать.

Этот короткий разговор привел его в растерянность. По дороге к взводу он догадался, почему не нужна бригаде занятая ими деревня, и чувство тяжести и какой-то вины, даже не своей, а общей перед ротой Пригожина сдавила грудь… Взвод второй роты уже стоял на опушке напротив оврага, по которому и решили двигаться на подмогу…

Молоденький лейтенант почему-то тихо, сдавленным голосом давал последние указания командирам отделения. Уже в самом овраге стояли пять человек, вооруженные автоматами — они пойдут первыми. Лица напряженные, усталые, в глазах смертная маета, как всегда у людей перед боем.

— Товарищи! — начал помкомбат. — Надо помочь первой роте удержать деревню. Там бьются ваши товарищи и друзья! Задача ясна?

В ответ раздалось не очень согласное, вразнобой — "ясна", "Понятно, надо помочь…" и еще мало разборчивое.

— Вперед, ребята. Ни пуха ни пера… — помкомбат попытался сказать это весело, бодро, но получилось фальшиво, как-то не к месту… Он понял это, и натянутая улыбка сползла с его лица.

Вначале в овраг втянулись пять человек с автоматами, за ними по-отделенно пошел взвод. Ротный присел на сваленное дерево и закурил, помкомбат присел рядом и тоже задымил… Звуки перестрелки в деревне то затихали, то усиливались, но они ждали, что через какое-то время в шумы того боя ворвутся новые, от действий идущего сейчас на подмогу взвода, ждали сосредоточенно и напряженно и не без чувства вины Перед этими людьми, которых послали в бой, а сами вот сидят здесь, в относительной безопасности и ждут, когда этот бой начнется и чем закончится…

А роту Пригожина тем временем немцы выдавили из деревни, и она заняла немецкие окопы, отбив перед этим тех фрицев, которые наступали на них с тыла. Смяв их поначалу перед окопами и заставив залечь, рота затем яростной контратакой рассеяла их по полю. Ведя этот бой, Пригожин удивился, что перед окопами валялось много трупов немецких солдат, убитых вроде не ими, так как, нагнувшись над одним, он увидел ранение в спину. Но времени раздумывать об этом не было, и только после боя, вернувшись в окопы, отдышавшись, он снова подумал об этой странности…

Заняв деревню, немцы прекратили вести огонь, и наступило короткое, как они понимали, затишье… Немцы, видимо, не будут наступать в лоб, они, наверно, раздумывают сейчас, как выбить их без особых потерь, и но всей вероятности постараются зайти с флангов, чтобы оттуда начать выжимать их из траншей. Поэтому Пригожин усилил фланги ручными пулеметами и роздал бойцам дополнительно гранаты… Сам он находился в центре вместе с Карцевым, Женей Комовым, недалеко от них были и Мачихин с папашей. Здесь Пригожин и выразил недоумение по поводу слишком большого количества убитых перед окопами немцев.

— Так кто-то открыл по ним огонь с тыла, — откликнулся услышавший это папаша. — Мы с Мачихиным задремали малость, случился такой грех, скрывать не буду, а тут очередь пулеметная и крик чей-то: "Окружают вас! К бою!" Ежели бы не это, боюсь, перерезали бы нас всех сонных.

— Сон с нас как рукой сняло — открыли стрельбу, а потом уж и немцев увидели. Ну, и остальные тоже, — вставил свое слово Мачихин.

— Кто же это мог быть? — удивился ротный.

— Кто бы ни был, а без него — хана бы нам. Живой останусь, свечечку за него поставлю, — сказал папаша и перекрестился.

Карцев, слушая, мучительно соображал. Мелькнула догадка, что связано это с убитым особистом и с тем парнем, лицо которого показалось ему знакомым, и он сразу спросил:

— А где этот… как его… Егоров, что ли, с которым, помните, командир, мы говорили здесь, в окопах? Как будто он недалеко от вас стоял, повернулся он к папаше и Мачихину.

— Стоял, верно… Только не видали мы его больше, — ответил папаша.

— Понятно теперь…

— Что вам понятно, Костя?

— Это он и особиста убил. Ну и он, наверно, заметил немцев и резанул очередь.

— Из чего резанул-то? — спросил Мачихин.

— Не знаю… Значит, это его я на одной малине в роще видал.

— На малине? Значит, уголовник? — спросил ротный.

Костик кивнул.

Больше говорить об этом Егорове нечего… Папаша о другом начал, о самом главном — придет ли подмога, а если не придет, как выбираться они будут, потому как ясно теперь, что отход неизбежен. Не выдержать им немецкой атаки, тем более патроны уже на исходе. И отходить нужно, конечно, по оврагу, который скроет их от огня…

— Должны же нам помочь, — вырвалось у Жени. — Товарищ командир, скажите должны же?

— Должны, должны, малыш… — успокоил его Карцев, а ротный промолчал, только посмотрел на Женю как-то внимательно, будто что-то вспоминая…

Ему и тогда, когда снял он Комова с обороны и отправил в штабную избу, детское личико Жени показалось знакомым, и теперь вглядевшись как следует, он спросил его по-немецки:

— Haben sie die deutsche Sprache nicht vergessen?

— Nein, — невольно ответил Женя по-немецки, а потом уже оживился. Откуда вы знаете, что я учился немецкому?

— Не у Веры ли Семеновны учились? — улыбнулся ротный.

— У нее! Вы ее знаете?

— Это моя мать, Комов… Наверно, раза два или три я видел вас.

— Бог ты мой! Неужто это правда! Как я рад! Я очень любил Веру Семеновну, она была такая красивая — совсем седые волосы, а лицо молодое. И комнаты у вас были очень красивые, картины на стенах и стулья какие-то резные, и статуэтки. Как я рад! — он

протянул к ротному свои ручонки.

— Вот. малыш, какие дела-то, — заулыбался и Костик. — Теперь держи хвост пистолетом — сам ротный тебе старый знакомый.

— Не смейся, Костя, у меня же тут никого… Вот ты, а сейчас…

— Евгений Ильич, — досказал Пригожин.

— Да, да… Вера Семеновна говорила, когда я вечерам занимался: "Вот Женя что-то на работе задержался". Евгений Ильич, я так счастлив, словами и не передать… — даже слезы появились у него на глазах.

Хмыкнул носом и Карцев и, немного подумав, сказал ротному:

— Товарищ командир, а не послать ли нам связного к комбату с донесением, что ежели не пришлет помощь, придется нам отходить?

— Я как раз об этом думал, Карцев. Сейчас напишу записку.

И на планшете нацарапал короткое донесение.

— Держите, Комов. Пробираться будете оврагом…

Комов машинально взял записку, но тут дрожащим голосом попросил:

— Разрешите остаться с вами. Я не хочу уходить, не хочу.

— Это же приказ, малыш… Пойдем, я провожу тебя до оврага, — сказал Костик и взял его за локоть.

— Да, это приказ, Комов… Ну, с Богом… — сказал Пригожий и подтолкнул Комова.

Это "с Богом" странно было услышать на поле боя. Странно, но и очень приятно… То же самое всегда говорила ему мать, отправляя в школу. Женя понимал, что, посылая его в тыл, ротный спасает его, но покидать сейчас и Костика, и ротного ему действительно не хотелось, и он еще какое-то время стоял, переминаясь с ноги на ногу, пока Костик не подтолкнул его к ходу сообщения…

— Радуйся, мальчиша, и не переживай. В живых останешься, сообщишь хоть своей училке, если что с ротным нашим случится. Может, он тебя потому и послал.

— Ну, а вы как?

— Мы-то? — усмехнулся Костик. — Авось выкарабкаемся как-нибудь, отпевать нас рановато. Мы с тобой после войны еще в "Форум" сходим, пивка там попьем, музыку перед сеансом послушаем…

— Какое кино, Костик! Что я, маленький, не понимаю, что ли.

— Кино — самое обыкновенное. "Жизнь — это трогательная комбинация", как говорил мой тезка Костя-капитан из фильма

"Заключенные". Смотрел? В жизни все может случиться.

Они вышли из траншеи, до оврага оставалось немного, но в рост не пойдешь, пришлось перебежками. Добравшись до оврага, присели. Костик осторожно прижег сигаретку и, скрывая ее огонек полой телогрейки, затянулся.

— Вот перекурим, и пойдешь, малыш… Только осторожней продвигайся, будь начеку.

— Почему? Там меня не видно будет.

— Понимаешь, не дураки же немцы, должны же они предполагать, что к нам подмога может прийти. Неужто не ждут? А самое подходящее место овраг. Понял?,.

Немцы были, конечно, не дураки… Они давно уже расположились наверху по обеим сторонам оврага и ждали русских, недоумевая, почему они не идут. Они замерзли и тихо переругивались, проклиная "иванов", которые по всем правилам должны прислать подкрепление своим, но почему-то не шлют, а бой в деревне уже кончился, русские в их окопах, еще один удар, и они будут выбиты, и тогда им тоже придется отходить по оврагу. Обер-лейтенант, посылая их сюда, поставил две задачи: отбить подкрепление, если оно пойдет, и не выпустить ни одного русского при отходе. Уж больно был он зол на них за то, что каким-то чудом выбили его роту из теплых изб Овсянникова, которое они так надежно обороняли в течение двух месяцев и в котором полагали продержаться до весны, до нового наступления войск на Москву.

Костик докуривал уже сигарету и вот-вот собирался проститься с Комовым, как услышал стрельбу в овраге, выклики своих и немецких команд…

— Ну, малыш, что я говорил? Считай, в сорочке ты родился. Айда назад!

Они побежали к траншеям, а потом, уже в них, расталкивая испуганных стрельбой бойцов и не отвечая на их вопросы, добрались до ротного, который приподнялся из окопа и смотрел в сторону оврага, стараясь разобраться, в чем дело, откуда идет стрельба. Костик, торопясь, выложил ему:

— Немцы ждали нашу подмогу, они в тылу у нас. Разделаются с подкреплением, пойдут на нас, ну, и из деревни на нас нажмут, Короче — амба нам.

— Найдите политрука, — приказал Пригожин, сразу понявший, что теперь-то отход неизбежен, иначе вся рота будет уничтожена или пленена.

— Ну, что? Плохо наше дело? — взволнованно спросил подошедший политрук.

— Да. Пока там, в овраге, идет бой, роте надо отходить.

— Приказа-то нет… — обреченно выдохнул политрук.

— Отсутствие приказа не оправдывает бездействие командира, так, кажется, в уставе. Так вот, приказываю вам обеспечить организованный отход. Берите правее оврага. Если немцы не запустят осветительных ракет, пройдете без потерь. Я остаюсь с несколькими бойцами в прикрытии. И поскорей, пока немцы не начали атаку из деревни. Поняли?

— Да, все ясно, — со вздохом облегчения ответил политрук, однако добавил для приличия: — А ты как, ротный?

— Не беспокойся, как-нибудь выберемся. Иди.

И тут они увидели стоявшего неподалеку Сысоева, который сделал шаг к ним.

— Я, товарищ ротный, со своим взводом без приказа отходить не намерен.

— Не дури, сержант. Себя не жалеешь, людей пожалей, — выдержал Костик.

— Сколько в вашем взводе осталось людей? — спросил ротный.

— Двенадцать штыков.

— Останетесь со мной в прикрытии. А вы, Карцев, отправляйтесь с политруком, мне не нужен сейчас связной.

— Нет уж, командир, этот номер не пройдет. С вами остаюсь, — твердо заявил Костик.

— Спасибо, — просто ответил Пригожий.

Пока рота покидала окопы, бой в овраге еще гремел, а в деревне немцы помалкивали — ждали, видно, конца схватки в овраге. И вот в эти напряженные минуты ожидания неминуемого боя, может, последнего для них, Костик, чтоб разрядить обстановку, решил с Сысоевым побалакать.

— Выходит, сержант, ты и верно герой, — начал он.

— Какой герой? Просто я по правилам воюю, по уставу. Понял? И без приказа отходить не имею права.

— Так по уставу последний приказ выполняется. Ротный наш отдал приказ, должен исполнять, а ты?

— Что я? Приказ на взятие деревни нам комбат отдавал. Мы ее взяли, выбили гадов, а теперь обратно отдавать?

— Уже отдали…

— Плохо дрались, значит. И отвечать за это будем.

— Дрались мы не плохо, но силенок не хватило… Ладно, сержант, ты скажи мне, почему особист знал тебя по фамилии и сразу вызвал?

— Память у него на фамилии хорошая, вот и вызвал.

— Ты мне мозги не дури. Давай по правде — работаешь на него?

— Еще чего? Он меня еще на формировании вызвал, поскольку я в Монголии воевал, ну и награда у меня… Разговор там сам знаешь какой — знаем, что вы боец сознательный, верим вам, на вашу помощь надеемся… Что мне отвечать? Надейтесь, говорю, в бою не подведу… А он: вы мне зубы не заговаривайте… Тут подошел к нему кто-то, он и отпустил меня — идите пока, потом поговорим, ну а потом не вышло. Вот так… Ты меня "героем" не дразни, сам-то почему остался? Тоже геройствуешь? Посылал же тебя ротный.

— Раз уж я попал на этот "курорт", как говаривал мой тезка…

— Какой тезка?

— Да ты не знаешь… Так раз попал, то до конца хочу…

— Мелешь чего-то… Какой курорт, какой тезка, не пойму… Ладно, закурим, что ли?

— Закурим.

— Я все приглядываюсь к тебе, вроде боец ты неплохой, но язык… Всегда с подковыркой какой-то подходишь, не по-простому.

— Таким уродился, сержант… Давай-ка скорей перекурим, вроде фрицы зашевелились.

Когда остатки первой роты во главе с политруком еще добирались до исходных позиций, до черновского леса, туда вернулись уже и бойцы разгромленного в овраге взвода второй роты, вернулись без комвзвода, молоденького лейтенанта, оставив и его, и еще полтора десятка убитых на дне оврага, успев только захватить тяжелораненых. С легкими ранениями дошли сами.

Сейчас они сбились в кучу, жадно смолили махру, кто-то тихо матерился, выбрасывая из себя злость и обиду за неудачный бой, а точнее, убой, потому что расстреливали их немцы сверху безбоязненно с двух сторон оврага, оставаясь сами неуязвимыми для ответного огня…

Растерянный помкомбат метался среди них с жалким лицом и дрожащими губами, спрашивал, как прошел бой, но ему никто не отвечал, только один зло буркнул:

— Почему без разведки сунулись? Вот и получили. Не бой был, а смертоубийство.

У помкомбата упало сердце: как же так, действительно, получилось? Почему взводный не послал вперед нескольких бойцов? Почему и он не напомнил об этом? Но тут боец, перевязывавший рядом рану, бросил:

— Что разведка? Пропустили бы немцы ее спокойненько, не дураки же…

Да, конечно, разведка ничего бы не дала, с облегчением

подумал помкомбат. Но все же по-умному можно же что-то сделать, и как ему доложить комбату, который вот-вот должен прийти на передовую и который, несомненно, свалит все неудачи на него. Дай Бог, если обойдется только руганью и матом, как бы под трибунал не отдал? А он только начал воевать!

Ему зримо вспомнился выпуск в училище. Как стояли они в строю, бодрые, полные решимости воевать, мечтая о подвигах, которые они совершат… Играл оркестр, они прошлись строевым, чеканя шаг, перед начальником училища. И музыка, и слова начальника о том, что он уверен, что они станут гвардейцами, наполняли их сердца возвышенным восторгом, при котором им совсем не страшна была смерть — они готовы хоть сейчас отдать свои жизни за Родину… О, какой торжественный и незабываемый день! Получение командирской формы, привинчивание кубарей, одуряющий запах кожи ремней, кобуры, в которую они скоро вложат давно ожидаемый пистолет… Это было совсем, совсем недавно, но сейчас показалось далеким, далеким сном — два дня на передке словно отрубили его от такого недавнего прошлого. Два дня, за которые он ничего не успел сделать, ничего совершить, ничему помешать. Батальон фактически разбит, а его ожидает либо трибунал, либо разжалование в рядовые, хотя от него ничего и не зависело…

Поэтому, когда появился политрук с бойцами первой роты, он с ошалелой радостью бросился к ним.

— Выбрались! Живые! — бормотал он, тяня к ним руки, словно желая то ли обнять, то ли просто ощупать этих пропахших порохом, в перепачканных кровью шинелях, с почерневшими, хмурыми лицами бойцов.

А они отворачивали от него глаза, в которых не было радости возвращения, а таилась какая-то тревога и беспокойство — отдали же деревню и оставили часть бойцов прикрывать свой отход, оставили почти на верную смерть.

— Где Пригожин? — спросил он политрука.

— Остался прикрывать наш отход… Боюсь, что… — не закончил он, сокрушенно опустив голову.

— Вы ранены, — увидел помкомбат перевязанную руку политрука.

— Да, задело…

— Пойдемте ко мне в землянку, угощу вас.

— Ох, неплохо бы глоток. Пошли.

Когда они ушли, то начались разговоры между ребятами первой роты и теми, кто ходил к ним на помощь. Начали с упреков.

— Что же вы так поздно пошли? Мы ждали вас весь день…

— Мы-то при чем, приказа не было.

— Приказа? Слышали же, что начался бой, поднажали бы на начальство.

— Кому охота в пекло-то…

— Это ясно, но ведь товарищи же ваши гибли. Подошли бы раньше, отбили бы мы деревню. Отбили…

— Не отбили бы, — это сказал кто-то из первой роты. — Много фрицев навалилось, да и хитрые они. В лоб не лезли, все окружить норовили. Умеют воевать, гады.

— Нет, отбили бы. Ротный говорил: взводик бы, взводик… — это произнес Женя Комов.

— А где ротный-то ваш?

— Прикрывать нас остался…

— Вон как? Наш не пошел… — это голос из первого взвода. — А лейтенантика нашего первым же хлопнуло. Кабы был командир, может, и прорвались бы к вам, а тут такая паника началась. Бьют сверху с двух сторон, ну и свалка, одни вперед, другие назад, прямо куча мала, а немец шлепает нас и шлепает…

— С таким начальством не навоюешь много…

— Наш ротный хороший, он умеет, — выступил Женя в защиту.

— Ну, ваш, может быть… Я вообще про начальство говорю. Помкомбатом пацана назначили. Малец неплохой, но молоко еще не обсохло. Суетится, бегает, а толку чуть…

Хорошо, не слышал этого помкомбат. Приведя политрука в землянку, он налил ему полкружки водки, дал на закуску галету, а сам направился к выходу, потому как сообщил ему телефонист, что комбат уже как полчаса вышел из Чернова. Он торопливо шел по тропке, поправляя на ходу обмундирование подтянул ремень, разгладил складки на шинели… Пройдя немного, остановился покурить, чтоб успокоить нервишки. Курил, жадно затягиваясь, чувствуя, как трепыхается сердечко.

Грузные шаги комбата он услышал издалека. Бросил папиросу, еще раз оправил шинель и пошел навстречу.

— Товарищ майор, разрешите доложить…

— Нечего докладывать. Знаю. Веди к этим трусам, которые приказ нарушили.

Комбат был без свиты, с одним ординарцем. От него сильно пахло спиртным в смеси с одеколоном, которым он надушился густо, чтобы отбить, наверно, запах водки. Шел он, правда, не покачиваясь, но тяжело. Белый полушубок, перетянутый походными ремнями, не мог скрыть полноты и выпирающего брюшка. Помкомбата неудобно было идти впереди, и он топал сбоку. Ветви елок царапали лицо, и вообще идти было неловко до

тех пор, пока не вышли к оврагу. Там больших деревьев не было, только мелкий подлесок и кустарник.

— Построй первую роту, этих героев в кавычках, — приказал комбат. — А где виновник торжества?

— Вы про Пригожина? — робко спросил наш комбат.

— Да.

— Он остался прикрывать отход. Пока не вышел.

— Давай политрука пока.

Помкомбат бросился к роте и скомандовал построиться в две шеренги, а за политруком послал связного. Пока рота строилась, подбежал и политрук, успевший соорудить косынку для своей раненой руки. Прихрамывая, так как ушиб ногу, подошел к комбату.

— Докладывай, политрук. Почему нарушили приказ? Кто разрешил отходить?

— Пригожин дал приказ на отход, когда положение стало безвыходным, немцы уже почти окружили нас…

— Как допустили до окружения? Кто решил, что положение безвыходное? Нет безвыходных положений! Думать надо было. Да, видно, нечем. Чего молчишь? Сказать нечего? Всех буду судить, всех. И тебя тоже.

— За что?… — вырвалось у политрука.

— За предательство, — отрезал комбат.

И от этого страшного слова захолодело в груди политрука и даже потемнело в глазах.

— Ну, идем к бойцам, если их так можно назвать.

Остатки первой роты в разодранных, грязных и окровавленных шинелях хмуро глядели, как приближается к ним комбат. Нет, они не боялись его. Наоборот, чем ближе он подходил, тем тверже становились их глаза, тем суровее лица… То чувство вины, которое они все же ощущали по возвращении, сейчас ушло — они видели перед собой подлинного виновника их поражения: это он не прислал вовремя помощь, это он не прислал сорокапятки, это он оставил их одних…

Комбат подошел, остановился и долго обводил взглядом ряды, останавливая его то на одном, то на другом бойце. Но те не опускали глаз, смотрели на комбата без страха, и это разозлило его.

— Ну как вас теперь называть? Товарищи красноармейцы? Бойцы славной Красной Армии? А? Не могу я вас так назвать. Язык не поворачивается. Кто вы теперь? Кто? Сдавшие деревню без приказа? Нарушившие священную присягу? Кто? Отвечайте! — повысил он голос. — Молчите? Нечего сказать? Предатели вы, вот вы кто! Поняли?

По шеренге прошел негромкий протестующий ропоток и легкое движение, но вслух никто не возразил. Люди не чувствовали себя предателями, наоборот, понимали, что их предали. Они совершили почти невозможное, взяли деревню, которую до них не могли взять несколько стрелковых частей. Но их не поддержали. А почему не поддержали, они не знали. И потому слова комбата не задевали их, они терпеливо ждали, что будет дальше, какое примет комбат решение. Ждали без трепета, без боязни, потому как были измучены и усталы донельзя, и было им все уже безразлично. Отпустил бы скорей, чтоб смогли они завалиться на землю, не держали их уже ноги, стоял кровавый туман в глазах от неспанных ночей. Даже об еде не мечтали. Залечь бы куда-нибудь, забиться под елку, покурить бы. И больше, казалось, ничего им не нужно, ничего не требуется. Но комбат загремел опять:

— Вы что, надеялись, что примут вас здесь как героев? Кашей накормят и спать уложат? А кто искупать вину будет? Кто деревню обратно отбивать будет? Пушкин? Сейчас поднесут патроны и гранаты. А зачем? Не знаете? Подумайте. Разойдись!

Комбат резко повернулся и направился к своему "помощнику и политруку, стоявшим в стороне.

— А вы, вояки, поняли, что я сказал? — негромко спросил комбат.

— Поняли, — враз и упавшими голосами ответили оба.

— Как вел себя Пригожин в бою, политрук?

— Хорошо, товарищ майор.

— Хорошо? — усмехнулся комбат. — Ежели б хорошо, то не здесь бы вы были, а там, в деревне. Ты вот что мне скажи, политрук, вернется твой ротный сюда?

— Если останется живым конечно…

— И ты веришь этому шибко грамотному? Не отвечай сразу, подумай.

Политрук мучительно задумался: какой ответ хочет услышать от него комбат?

— Подумай, — продолжил комбат. — Разве обязательно командиру роты в прикрытии оставаться. Сержанта бы оставил с бойцами, а сам роту обязан вывести. Но он знает, что его ждет расстрел. Так, может, не зря остался-то? Плен предпочел?

— Не может этого быть, — уверенно и без робости сказал помкомбат.

— Ты помалкивай. Я политрука спрашиваю. Отвечай, комиссар.

— Не знаю… Офицерский сынок он… Мать дворянка. Говорил он мне… Не знаю…

— Заладил — не знаю, не знаю. А я вот знаю, как волка ни корми, он все в лес глядит.

— Какая чепуха! — выскочило у помкомбата.

— Не чепуха, — оборвал его комбат. У меня к этим интеллигентам, инженерам всяким доверия нету. Что у них на уме — не знаю и не понимаю. Так вот, уверен я, не вернется ваш Пригожин. Не вернется. Сколько с ним бойцов осталось?

— Человек двадцать, по-моему. Двое пожилых, связной его и еще остатки взвода Сысоева, сержанта.

— Ну, все ясно. Командовать ротой ты, помкомбат, будешь. И ты политрук, пойдешь. Тебе в плен нельзя, шлепнут немцы сразу, сам знаешь. Для тебя одно — смерть или победа. Понял?

— Понял… Но поцарапан я, товарищ майор. В предплечье ранен…

— Злее будешь. Не с такими ранами воюют. Вот дождемся боеприпасов, и пойдете искупать кровью.

— А если вернется Пригожин? — спросил помкомбат.

— Пригожина для меня нет на свете, вернется, не вернется. Ежели придет — расстреляю саморучно перед строем. Другим и вам наука. Чего побледнели? Вы на войну пришли или в бирюльки играть? А на войне как на войне. Сантименты всякие да слюни — ни к чему. Нам Родину надо отстоять. Принимай, лейтенант, первую роту. И ты, комиссар, иди к людям. Разъясни, что обратного хода для них нет. Не возьмете деревню, добра не ждите.

Не бодро отошли они от комбата. Пошатывало обоих. И тошно было на душе. Не дойдя до роты, присели и закурили. Единственная отрада, единственное, чем поддержать нервы можно. Хорошо, помкомбат вспомнил, что осталось у него во фляге, висевшей на ремне, немного водки. Отцепил от пояса, протянул политруку. Тот выпил, как воду, не ощутив ни запаха, ни крепости, только через минуты две, когда затеплело в желудке, понял, что выпил сорокаградусной. Чуть-чуть полегчало на душе и разомкнулись уста.

— Ты понял, лейтенант, на смерть же нас посылают?

— А мне уже все равно… Я ждал, что комбат под трибунал подведет… Вообще за этот день и ночь столько было…

— И главное, не взять нам деревню. Ни за что. Так под нею все и ляжем. А мне, ежели еще ранят, стреляться придется… Вот знаю, а как-то не верится, что всего два часа жить осталось. А тебе?

— Мне тоже… А может, возьмем?

— Нет, исключено… Один раз взяли чудом или дуриком, как один боец сказал, второй раз не выйдет. Немцев туда сейчас

набилось тьма. Не отдадут.

— Так что? Может, чтоб не мучиться, сейчас пулю в лоб? — странно спокойно спросил помкомбат и хлопнул себя по кобуре.

— Нельзя, лейтенант. Надо перед смертью хоть уважение к себе не потерять.

— Слова-то хорошие. А Пригожина предали, политрук. А зачем? Перед смертью-то? Надеялись, что отпустит вас комбат в санроту? Гадали, что он хотел от вас услышать? Понял я…

— Прав ты, лейтенант. Проявил слабость. Но понимаешь, чего я за это время не пережил… Скажу честно, обрадовался, когда руку пулей царапнуло… Человек же я. Не железный, а как и все. Виноват перед Пригожиным. Перед ним уже не покаешься, хоть перед тобой. Как на духу — виноват, черт меня дернул…

— Теперь, если и вернется Пригожин, его комбат уже без всяких колебаний хлопнет — сынок офицерский, мать дворянка… И чего это он перед вами разоткровенничался?

— Сам удивился… Сказал он, правда: разве дворяне плохо Россию защищали во всех войнах, и кто такой Кутузов, Суворов, как не дворяне… А потом мы же с ним, уж если честно сказать, в живых остаться не надеялись…

Глотнули они из фляги еще, до донышка опорожнили и поднялись, не зная, как и вести себя перед людьми, какие слова говорить, как им в глаза глядеть?

Серый успел выбраться из оврага еще до того, как немцы заняли позиции по его склонам, а потому и не видел их. Он взял сильно влево, чтоб войти на передовую там, где вряд ли выставлены посты. К лесу он подползал, а войдя в него, поднялся и пошел быстро в тыл, но не успел пройти и десятка метров, как его остановили:

— Стой! Кто идет?

Он выругался про себя: вот незадача. И сразу же обозлился на остановившего его. Того было не видно, и он крикнул:

— Свои. Свои…

— Пароль!

— Какой к хрену пароль. Я — старший лейтенант, из особого. Днем в Овсянниково ходил. Помнишь, самолет листовки разбросал, так я пошел, чтоб собрать их. Ты выходи, вот мое удостоверение, — сказал он все это спокойно, уверенным голосом, и двинулся вперед, вынув из кармана удостоверение особиста. Фотографию свою он еще не наклеил, но понадеялся, что в темноте не разберет постовой.

Постовой вышел из кустов, здоровенный пердило с винтовкой, и они пошли навстречу друг другу.

— Давай удостоверение, старшой, — протянул тот руку.

— Давать его я не имею права, на, смотри, — и Серый сунул ему удостоверение, не зная, конечно, что уже по всем постам отдано распоряжение задержать любого, кто назовется особистом. Не знал, а потому и не подготовился, ни пистолета не приготовил, ни ножа.

Постовой глянул мельком на удостоверение и сказал добродушно:

— Порядок, товарищ старший лейтенант… — потом кивнул на немецкий автомат. — Трофей? Нельзя посмотреть, старшой, первый раз такую машинку вижу, — и протянул руку.

Не обманул Серого добродушный тон, почуял он неминуемую опасность, но автомат протянул левой рукой, а сам в одно мгновение выдернул кинжал из ножен и, потянув на себя автомат, ударил в приблизившегося к нему постового. Тот и не пикнул даже, свалился как сноп. Одним движением руки расстегнул Серый шинель убитого, достал из кармана гимнастерки красноармейскую книжку, сунул себе в карман и осторожно, стараясь не шуметь, пошел по лесу. Пройдя около километра, остановился и призадумался. Нет, так ему с передовой не уйти. Про особиста знают. Ксива эта сейчас никуда не годится. Но уходить надо, главное же сделано, впереди свобода маячит, жизнь… Он подошел к не очень толстому дереву, достал пистолет, но не особиста, а трофейный парабеллум, приставил левую руку к стволу дерева, а правой стрельнул через дерево в левую. Первая пуля прошла мимо, не задев, но со второго выстрела прострелил он себе предплечье. Скривившись от боли, наскоро перевязался. Пистолет особиста спрятал под деревом в снегу, как самую явную улику, а удостоверение его засунул в сапог и тронулся спокойно в санвзвод, чтоб получить санкарту не на свое, конечно, имя, а на имя убитого им постового, благо книжки эти были без фотографий. В санвзвод пришел он уже на рассвете. Врач обработал рану, порадовался за него, что не задета кость, сделал противостолбнячный укол и выпроводил, так как изба была набита ранеными.

— Санрота в Бахмутове. Как Волгу перейдешь, так и село это. Понял?

— Спасибо, доктор. Понял. Прощайте.

И тут уже полное спокойствие освободило душу, сейчас мог он радоваться, не сдерживая себя. Теперь одно желание — дойти до села, купить бутыль самогона и тем спраздновать обретенную свободу. А то, что стоила она двух человеческих жизней, он не очень-то задумывался: особисту туда и дорога, а этому постовому не надо было лезть на рожон, тоже мне, бдительный, кого задержать вздумал? А кстати, все же за это время он и доброе

дело сделал, предупредил роту, ну, и с десяток фрицев ухлопал, ежели не более…

А когда дошел до Волги, то уж совсем душа успокоилась. В санроте задерживаться он не будет, только продаттестат возьмет и тронет в тыл дальше. Хорошо бы в московский госпиталь угодить, в Москве он своих найдет, там уже полный порядок будет…

Стрельба в деревне уже давно закончилась, но никто оттуда еще не пришел. Больше всех переживал Женя Комов, он даже несколько раз выходил на поле и тщетно всматривался в темноту. Два хороших и близких ему человека остались там — ротный и Костя. Хорошими были и папаша с Мачихиным, но от тех он был далеко. А вот ротного — "С Богом", пронизало его до глубины души, ну, и к тому же оказался он сыном его милой учительницы Веры Семеновны… Что он ей напишет, если старший лейтенант Пригожин не вернется?… Да и успеет ли написать? Вот бойцы его роты разбирают принесенные в ящиках патроны, разбирают гранаты, набивают диски ППШ. Все это делают молча, хмуро и не очень-то думают о том, что вот-вот снова придется идти в бой. Им показалось, что комбат пугал их только, — это настолько бессмысленно, что трудно поверить в серьезность такого приказа послать разбитые, деморализованные остатки роты опять наступать на деревню, которую и в первый-то раз взяли счастливым случаем.

А в это самое время старший лейтенант Пригожин, Карцев и Мачихин, выбиваясь из сил, тащили тяжело раненного папашу. Он был грузен, и они часто останавливались, отдыхали, опуская папашу на землю. Он прерывисто дышал, ранение было в грудь, и порой, когда он говорил, розовая пена показывалась у губ. А говорил он слабым голосом, прося захоронить его обязательно…

— Не хочу валяться неприбранным…

— Чего о смерти заладил, выдюжишь ты, — успокаивал Мачихин.

— Не болтай… Ты адресок дочки не забудь и отпиши обязательно… И место укажи, где захоронили… Хочу, чтоб на могилку после войны сыны и дочери приехали… Звезду железную мне не надо… Крест бы… Но его вы не поставите… Так лучше без всего тогда…

— Как в лес зайдем, тебя на носилках быстро в санчасть доставят, Петрович, ну, и порядок будет… — это Костик успокаивал.

— Нет, браток… Чую, пришел мой час… Я смерти не боюсь… Все равно жизни не было, и будет ли она, один Бог знает… Вы только исполните все, что прошу… Обещай, ротный, хочу твое

слово… офицерское услышать…

— Обещаю, Петрович…

— Ты мне моего командира по германской напомнил… Вот почему и про слово офицерское сказал… Понял?

— Вредно тебе говорить, Петрович. Помолчи лучше…

— Ничего мне теперича не вредно, Мачихин…

И на следующей остановке о том же бормотал умирающий папаша и просил заверений, что захоронят его по-человечески. И так всю дорогу, пока перед самым лесом и не затих… Мачихин перекрестился, остальные стянули с себя каски. На поле его не оставили, донесли до леса, положили около большой ели, чтоб потом вернуться и похоронить, как он просил…

Уходя от немцев, они взяли далеко влево и вышли почти в том же месте, где и Серый, а потому и натолкнулись на труп постового… Костик увидел ножевую рану и сказал ротному:

— Вот говорил я о Егорове вам… Видать, тоже его работа. Теперь пойдет гулять на воле. Сволочь, конечно, хотя кабы не его вскрик и стрельба, прозевали бы мы фрицев…

Ротный ничего не сказал на это, не до того ему. Они повернули направо, чтоб выйти к оврагу, где, наверно, находятся остатки их роты. Шли медленно, часто передыхая. Пожалуй, только Сысоев был бодрее других, но и от его бравого вида мало что осталось — ссутулился, обмяк.

Немцы снова начали пускать ракеты из Овсянникова, и их свет пробивался сквозь деревья, а потому плутать особо не пришлось. Минут через двадцать услышали они голоса и вскоре увидели ребят. Увидели и ящики из-под патронов, уже пустые…

— Это что же такое? — спросил Сысоев, кивнув на цинковые коробки.Неужто?…

— Это самое, сержант, — выдвинулся один. — Пойдем вторым заходом.

— Где комбат? — нахмурил брови ротный.

— Небось, у землянки помкомбата, — ответил тот же боец.

И здесь бросился к ротному Комов… Побежал со счастливой улыбкой.

— Живой, товарищ командир! Живой!

Ротный потрепал его по плечу и тоже улыбнулся, однако задерживаться не стал, тронулся с Карцевым и Сысоевым к землянке. Побрел за ними зачем-то и Комов. Видно, хотелось быть рядом с Пригожиным… Женя, воспитывавшийся без отца, вообще тянулся к взрослым мужчинам и даже к ребятам старше его, и хотя ротный не годился ему в отцы, чувства, похожие на сыновьи, вспыхнули в нем. Он шел позади, но до него доносились слова разговора, который вели ротный и ребята.

— Выходит, сержант, опять геройствовать придется, — сказал Костик, выдавив усмешку.

— Выходит, так, — каким-то не своим голосом протянул Сысоев. — Я уж какой нестомчивый, но и то дошел… Не смерти боюсь, просто сил не осталось…

— Постараюсь доказать комбату бессмысленность всего этого, — сказал ротный, но не было в его словах уверенности, а потому шли к землянке с холодком в сердце.

Через некоторое время ухватился Костик за одну мысль, которую и высказал.

— В уставе говорится, выполняются любые приказы, кроме явно преступного. А разве приказ комбата не…

— Пустое это, — перебил сержант. — Есть это в уставе, но как определить?…

Ротный в разговор не включился, понимая, видно, что этот пункт устава их не спасет.

Комбат сидел на пне и курил. Около него стоял помкомбат и командир второй роты… Из землянки вился теплый дымок, и, почуяв его запах и даже тепло, и ротный, и Сысоев, и Карцев, и Комов так захотели очутиться сейчас в землянке, в тепле, что это желание на какое-то время вытеснило у них все остальное — забраться бы, лечь у печурки, курнуть два разка и… заснуть, забыться от всего кошмара, которым сопровождался весь этот день и ночь…

Ротный подошел первым к комбату, но не успел еще ничего сказать, как тот, окинув его холодным и безразличным взглядом, процедил:

— Явился, не запылился?… Докладывай, почему деревню сдал, приказ нарушил.

— Я не сдал, нас выбили, потому что вы не прислали подкрепление и сорокапяток.

— Выбили? И я, значит, виноват? Ловко, Пригожин! Так вот, слушай, хотел я тебя расстрелять без лишних разговоров, как вернешься. И сделал бы это, вернись ты чуть раньше. Но решил дать тебе шанс и всей твоей роте искупить кровью! Приказываю: немедленно выбить немцев и возвратить взятую деревню. Возвратить! Понял?

— Деревню взять сейчас нельзя. Люди измучены до предела. Вы посылаете их на верную и бессмысленную смерть… Я не могу выполнять этот приказ… Я считаю его преступным…

— Что?! — заорал комбат, вскочив с пня. — Ты что сказал, сволочь недобитая? — он суетливо расстегивал кобуру. Да я тебя тут… на месте шлепну, ты что, этого не понимаешь? Дал тебе шанс искупить вину, а ты… комбат вытащил пистолет, дернул

затвор, вогнав патрон в патронник, и, подняв руку с пистолетом, двинулся на Пригожина.

Тот стоял не шевелясь, бледный, с плотно сжатыми губами и смотрел на приближающегося комбата.

— Стреляйте! Ну, стреляйте! — вроде бы совсем спокойно сказал он.

— Товарищ майор… — пробормотал помкомбат, сделав шаг в его сторону.

— Молчать! — не повернув головы, крикнул комбат. — Я не шучу, Пригожин. Повтори приказание и марш — выполнять!

— Я считаю ваш приказ явно преступным. Стреляйте.

— Ах так!

И тут, откуда ни возьмись, выскочил Комов и, бросившись к комбату, схватил его руку с пистолетом, пригнув ее тяжестью своего тела вниз.

— Не надо, товарищ комбат… Не надо! Товарищ комбат, миленький, не надо…

Комбат на секунду опешил от такого непредвиденного поступка и глупых слов, затем попытался ногой отпихнуть от себя этого чумового бойца, но Женя мертвой хваткой вцепился в руку комбата, не оторвать… И тут прозвучал выстрел… Комов без стона, без вскрика рухнул ему под ноги… Комбат с брезгливой миной перешагнул через его тело и спросил:

— Кто такой? Как посмел? — и оглядел окружающих.

Ему никто не ответил, взгляды всех были направлены на убитого. Комбат грубо выругался. Не понять было, случайно он выстрелил или нарочно, но так или иначе, какая-то растерянность виделась на его лице.

И тут тишину разодрал дикий крик:

— Ты что натворил, гад?! Ты кого убил, падла?!

С автоматом наперевес, направленным стволом на комбата, шел Карцев…

— Арестовать! Обезоружить! — истерично взвизгнул комбат, но никто не бросился на Костика, все оцепенели… Да и как тронуться, когда так страшен был вид этого бойца, в окровавленном ватнике, почерневшего, с выпученными сумасшедшими глазами, который вот-вот брызнет очередью из ППШ и порешит всех, стоящих напротив.

— Арестовать! — крикнул комбат еще раз, но его рука с пистолетом, опущенная вниз после выстрела в Комова, так и висела, и он боялся ее поднять, потому что дрожал палец Карцева на пусковом крючке и вот-вот, при любом движении майора, он несомненно нажмет на него.

— Ты кого убил, падло?! Ты что сделал, гад?! — повторял

Карцев, неотступно и неотвратимо надвигаясь на комбата.

Первым очнулся Пригожин, он в два прыжка обогнал Карцева и встал перед комбатом.

— Отставить, Карцев. А вы, майор, уберите пистолет в кобуру, иначе я не отвечаю за вашу жизнь.

— Отойди, ротный! Не мешай! — прохрипел Карцев, уткнувшись стволом автомата в грудь ротного.

— Отставить, — повторил твердо и четко Пригожин.

— Отойди, говорю! Все равно я этого гада прикончу. Всех прикончу, вдруг заорал Карцев, поведя стволом автомата. — Отойди!!! — совсем уж бешено повторил Костик и стволом автомата попытался отодвинуть ротного.

Пригожин не схватился за ствол, не стал вырывать автомат у Карцева, понимая, что тот в истерике и вот-вот нажмет спусковой крючок.

— Костик, прошу, не надо… Комбат, наверно, случайно выстрелил… Майор, скажите ему…

Комбат молчал, но Пригожин продолжал уговаривать Карцева:

— Вот слышишь, Костик… Образумься, — он положил ему руку на плечо. Успокойся… Комова не оживить…

Карцев вдруг обмяк, сбросил руки с автомата, закрыл ими лицо и, сотрясаемый беззвучными рыданиями, побрел в сторону, согнувшийся, словно переломленный пополам… Подойдя к ели, он опустился на землю, обессиленный и раздавленный.

Комбат уже убрал пистолет в кобуру и стоял, шумно и тяжело дыша. Пригожин повернулся к нему, и теперь они стояли лицом к лицу. Комбат смотрел зло, играли на скулах желваки и подрагивали тонкие, в ниточку губы. Пригожин глядел спокойно, даже как-то отрешенно, сердце давила боль за нелепую смерть Комова, этого мальчика, которого учила его мать немецкому языку, и ему вдруг стала совсем безразлична собственная судьба. Только придавила невероятная усталость, вытеснив все… Комбат первым отвел взгляд, резко повернулся к помкомбата и другим командирам и приказал:

— Арестовать обоих!

Помкомбат нерешительно двинулся к Пригожину.

— Сдайте оружие. Пригожин… И бойцу своему прикажите, — сказал он мягко, чуть разводя руками, словно говоря этим — ничего не поделаешь приказ…

Тем временем остатки первой роты, бухнувшись кто куда, не подложив даже лапника на снег, сразу почти все ушли в дрему, отключились от кошмара прошедшего дня и ночи. Кто-то и покурить даже не покурил, а как прилег, так и провалился в

небытие. Не дремал только Мачихин и еще один боец из пожилых, с которым улеглись они вместе под большой елью, завернули но большой цигарке и вдумчиво потягивали горький дымок моршанской, переваривая в душе и только что происшедшее, и то, что предстоит им снова.

— Мачихин, вот ты мужик грамотный… — начал сосед, но Мачихин буркнул, перебив:

— Какой я грамотный? Церковноприходская только.

— Да нет, грамотный ты. Вот политрук тебя филозофом прозвал. Так скажи, понимаешь ты что из того, что сегодня было?

— А чего тут понимать? Не жалеет народ наша власть, и никогда не жалела. Она пол-России угробит, чтоб себя сохранить. Разве сможем мы отбить деревуху? Нет. Поляжем все. вот и весь сказ…

— Неохота помирать-то… Из такой заварухи вышли живыми… Сейчас бы нам на отдых надоть, хоть на два денечки. Пришли бы в себя, а там и опять повоевать можно.

— На том свете нам отдыхать. Понял?

Они вздохнули тяжело оба и задумались. Молчали долго, пока не искурили… После этого сосед тихо и вроде бы ни к чему сказал равнодушным голосом:

— А я листовочку-то сохранил, — и глянул на Мачихина выжидающим взглядом.

— Ну и что? — так же равнодушно спросил Мачихин.

— Да, ничего… Просто сказал… Жизнь-то одна…

— Одна, — согласился Мачихин.

— Дети у меня…

— Ну и что? У всех дети… Ты что, немцам поверил?

— Так пишут же: обеспечена жизнь и свобода…

— Ну и дурило ты, ежели поверил. Выкинь это из головы, а листовку порви, чтоб она тебе душу не мутила. Понял?

— Так убьют же, гады. Сегодня ночью и убьют нас с тобой. Что же, как бараны и пойдем? — с отчаянием вырвалось у соседа.

— Другие-то пойдут, — повернулся к нему Мачихин.

Тот как бы съежился и начал дрожащими пальцами свертывать вторую цигарку. И только сделав три глубоких затяжки, спросил шепотом:

— Не продашь, Мачихин?

— Сдурел, что ли? Не такой я человек. Но ты порви все же листовочку-то. Порви.

— А пропади она пропадом! — Он вытащил из кармана гимнастерки листовку и стал рвать ее с отчаянием, зло, отрезая себе этим последнюю надежду на жизнь.

Мачихин смотрел, как он рвет листовку, а сам думал: ох, как

безропотно и покорно, словно скотина какая, ходит русский мужик на смерть, и почему сие так? Власть он не любит, потому что ничего хорошего она ему не сделала, и сейчас не жалеет людей, воюет безжалостно, к тому же еще и глупо, неумело, а вот ведь не выйдешь из строя, не подашься к фрицам, хоть и обещают они жизнь… Невозможно русскому человеку спасаться одному, оставляя сотоварищей… Вот и листовку порвал лишь потому, что сказал ему Мачихин: "Другие-то пойдут". И выходит, одно их держит совесть, совестно оставлять других в беде, а самому спастись. И сказал Мачихин:

— Разорвал? Есть в тебе, значит, совесть. Есть…

— У нас-то есть… Вот и поляжем все. А комбат вернется к своей бабе, ополовинит бутылку и нас даже не помянет. Обидно. Мы за свою совесть смерть примем, а бессовестные орденов нахватают, чинов, жить будут да еще хвастать, что они войну выиграли.

— Ну, комбат невелика шишка, его запросто могут хлопнуть, а вот генералы… Те, конечно… Как звать-то тебя?

— Степаном.

— Так вот, Степа, ты надежду все же не теряй. Может, и возвернемся сегодня… Ну, а на всю войну не загадаешь, пехота же матушка…

— Знаешь, Мачихин, я уже ни ноги, ни руки не жалею, пусть оторвет, лишь бы живым. До боя думал, лишь бы что не оторвало, а сейчас пусть… Лишь бы живым.

— Это оно так… пробурчал Мачихин.

На том разговор двух пожилых солдат и закончился. Повело их, как и остальных, в дрему. Сперва Степан заснул, а за ним и Мачихин, деревенский филозоф, который перед тем, как заснуть, все же подумал: а правильно ли он сделал, что уговорил Степана листовку порвать…

Уже снимал с плеча Пригожин автомат, чтоб отдать помкомбату, как раздался резкий щелчок взводимого затвора и вышел из темноты Сысоев, а за ним два бойца.

— Нет уж, товарищи командиры! Не дам я вам ротного заарестовать. Раз вы не по уставу воюете, так и я тоже. Мы пойдем, комбат, брать Овсянниково. Пойдем! Но вся кровь наша на вас будет. И мальчонки этого, и наша… Пойдемте, ротный, ну их всех… Может, и возьмем эту деревню распроклятущую… Пошли. А вы отойдите, лейтенант, от греха, да и вы, комбат, не вздумайте игрушку свою вынимать, я диск набил, тут у меня семьдесят два патрона, — угрожающе повел стволом ППШ Сысоев.

Все словно закаменели… Нерешительно топтался на месте

помкомбат, молчал и комбат, покусывая губы, чуть, еле заметно усмехался командир второй роты, поглядывая то на Сысоева, то на комбата. Поднялся с земли Карцев и встал рядом с Сысоевым. Неровный, слабый свет из открытой двери землянки еле-еле освещал пятачок, на котором они стояли, выхватывая из темноты то одного, то другого. Помкомбат первым нарушил молчание:

— Вы сдадите оружие, Пригожин? — спросил он и сделал шаг к нему.

— Нет. Сержант прав, мы пойдем брать деревню, лейтенант.

Помкомбат повернулся к комбату и вопросительно глядел на него, не зная, что делать дальше. Комбат долго молчал, потом с нехотью и с раздражением сказал:

— Ладно, пусть идут… Ну, смотри, Пригожин. Возьмешь деревню — все прощу, а нет — лучше не возвращайся.

Пригожин ничего не ответил, круто повернулся, и все они — Сысоев, Карцев и два бойца тяжелыми шагами пошли к своей роте… Немного погодя помкомбат сказал:

— Их же нужно поддержать, товарищ майор.

— Вот ты и поддержишь. С тем взводом, что ходил уже, и пойдешь за ними. Сами в бой не вступайте, но ежели они отходить станут… Понял?

— Нет, товарищ майор.

— Ох, какой непонятливый, — усмехнулся комбат.

— Я действительно не понял.

Не валяй дурака! Присматривать за ними должон, ну и если кто сдаваться пойдет — пресеки. Теперь понял?

— Я пришел сюда с немцами воевать и пойду, чтоб помочь первой роте.

— Помогай, помогай… Ну, а если они на сторону врага перейдут, а ты не пресечешь — отвечать будешь по всей строгости.

— Что вы выдумываете? Вы должны верить людям!

— Я ничего не выдумываю. И верю. Но должон все предвидеть и за все отвечать. А ты должон приказ выполнять и не рассуждать много. Молод еще. и мозгов у тебя для этого мало. Понял? Ежели трусишь, на, выпей для смелости, — протянул он помкомбата флягу.

— Спасибо, я пьяным в бой не хожу.

— И тут перечишь? Ну-ну, давай… А я вот глотну малость, — и комбат отхлебнул из фляги изрядную дозу, неприязненно поглядывая на помкомбата. Выпив, он утер губы рукавом, а потом грубо спросил его: — Чего ждешь? Иди, собирай взвод и выполняй приказ. Повтори.

— Есть выполнять приказ, — тихо сказал помкомбат,

приложил руку к каске и пошел вслед за Пригожиным и другими.

Комбат закурил, посмотрел на командира второй роты и вдруг неожиданно предложил:

— Ну, а ты, старшой, выпьешь?

— Спасибо, товарищ майор. Не пью, — холодно ответил тот.

Комбат нахмурился. Неужто и этот, как будто бы кадровый командир, осуждает его? В общем-то плевать ему на всех, поступил он правильно, только вот с этим пацаном нехорошо все же вышло. Но виданное ли дело, чтоб рядовой ухватил руку командира части. Фактически он в порядке самообороны в него стрельнул, хотя сейчас и сам не помнит, случайно нажал крючок или нет. Курок-то был взведен, тут чуть нажал и выстрел. Сейчас ему хотелось думать, что случайно, как показал Пригожин, но если и нет. то в справедливом гневе, потому что не отставал от него этот чумовой… Невольно глянул он на лежащее рядом тело и при свете вспыхнувшей немецкой ракеты увидел открытые, застывшие вроде бы в удивлении, глаза и черную струйку крови из полуоткрытого рта, застывшую у подбородка… Он быстро отвел взгляд и буркнул командиру второй роты:

— Прикажите захоронить… Ну, и насчет похоронки не забудьте…

— Погиб смертью храбрых в боях… и так далее? спросил тот, скривив губы.

— Да! — почти крикнул в сердцах комбат.

В этот момент снова вспыхнули несколько ракет на поле…

— Берегутся немцы. Видать, настороже, — заметил ротный.

Комбат сжал губы и бросил злой взгляд. Он понял, для чего сказал это ротный, и ничего ему не ответил. От отцепил флягу и припал к ней надолго, граммов двести в себя влил, после чего прибавилось в нем уверенности, что поступил он справедливо — пусть все знают, что значит приказ нарушать, все равно придется кровью расплачиваться, ну, а потери?… Они же неизбежны в войне, что значит несколько десятков перед теми сотнями тысяч, которые гибнут за нашу советскую Родину? Да и он сам не сегодня-завтра может быть убит. Черново же немцы вон как обстреливают, а блиндаж его сделан наспех, накаты хлипкие, прямого попадания не выдержат. Надо бы, конечно, приказать второй ряд сделать, да все недосуг в этой кутерьме и суматохе… Да и сейчас, сидя на передовой, он тоже рискует жизнью: немцы за то, что потревожит их ночью рота Пригожина, откроют огонь по черновскому лесу, а тут ни траншей, ни щелей не удосужилась сделать смененная ими часть, прихлопнут запросто, и останется батальон без командира, а что солдат без начальника мясо…

Но уходить с передовой, не узнав, чем закончится

наступление, нельзя, иначе этот старшой не только презрительно хмыкнет, но и побежит к роте, сообщит, что комбат с передовой ушел, ну, а тогда, знает он, как будут они наступать — продвинутся для виду сотню метров, постреляют и… назад, дескать, нельзя пройти, больно огонь немцы сильный ведут… Нет, страх смерти можно подавить только еще большим страхом — той же смерти, но еще и с позором… Так и гражданскую воевали, так и эту придется… Он тяжело поднялся и кинул командиру второй роты:

— Пойдем, старшой, к опушке, понаблюдаем, как они там…

Комроты ничего не ответил, только поправил на груди ППШ, и они пошли, обходя трупы, а порой в темноте спотыкаясь и наступая на них невзначай. С поля пока не доносилось никаких шумов боя, стояла тревожная тишина, лишь шипенье гаснущих и падающих осветительных немецких ракет да негромкие хлопки взвивающихся в небо новых… Около оврага в небольшом снежном окопчике сидел одинокий боец и напряженно смотрел на поле.

— Ну, присядем… — хрипло сказал комбат и стал выбирать место. Небось, рад, что не тебя послал со взводом, а этого петушка?

— Мне все равно, — безразлично ответил старший лейтенант.

— Ну да? Помирать-то неохота, семья, наверно, есть?

— Есть.

— Ну, а этот петушок бессемейный, пусть пороху понюхает. Кто его мне в помощники сунул, понять не могу. Ежели не вернется, тебя назначу. Ты же кадровый?

— Кадровый, — так же безразлично ответил тот.

— С какого года служишь?

— С тридцать пятого.

— Смотрю, не разговорчивый ты.

— Люди на смерть пошли, а мы тут разговорчики вести будем?

— За мальчонку меня осуждаешь? Так нечаянно я. Да и что один мертвый, когда сейчас сотни тысяч за Родину гибнут, — комбат вытащил пачку "казбека", предложил старшому.

Тот взял папиросу, и они закурили…

— А ты молчун, старшой… Всегда таким был?

— Не всегда…

— Понимаю, со мной не хочешь говорить?

Старший лейтенант ничего не ответил, поднялся, а потом спросил разрешения пойти к своей роте.

— Не разрешаю, старшой… Думаешь, ты один переживаешь? Я тоже не каменный, только права не имею переживать. Ты сядь…

Я, конечно, жестоко поступил, но правильно. Отдали деревню, струсили, берите обратно, другого на войне и быть не может. Ну, что можешь возразить?

— Если бы мы поддержали Пригожина, усилили его роту, тогда и спрашивать можно было. Их же в деревне горстка осталась.

— Не горстка, а половина роты. И приказа на отход не было, значит стой насмерть и ни шагу назад. Ты — кадровый, уставы должон знать.

— Разрешите все же пойти к роте, — снова поднялся старшой.

— Сиди. Знаю, что ты думаешь: вот бы и пошел комбат вместе с ротой Пригожина… Так, что ли? А я не пошел, потому как права такого не имею. Я отдельным батальоном командую, и не меня из деревни немцы выперли. Кабы меня — пошел бы брать обратно. Самолично. Понял?

Хотелось старшему лейтенанту, рвалось из груди, высказать комбату все, что он о нем думает, что противна ему демагогия, которой наслышался за свою службу в армии предостаточно от таких же отцов-командиров, что за всеми словами одно лишь — угодить начальству. Ведь поспешил он, наверно, доложить комбригу о взятии Овсянникова, а пушки и подкрепления дать побоялся, потому что потерять эти сорокапятки страшнее, чем угробить сотню людей, за технику-то спрос другой, а потому не стал рисковать ими, понадеялся "на авось" авось удержит деревню Пригожин, но ничего этого не сказал. Только мерзко было на душе оттого, что и его жизнь тоже зависит от этого человека…

Пригожин остатки своей роты повел не по оврагу, опасаясь, что немцы, ожидая этого, выставят там посты. Он взял много вправо, и люди шли по открытому полю где-то между Овсянниковой и Пановой, куда не доходил свет немецких ракет. Но вскоре роте придется подбираться к деревне ползком и, не дай Бог, если немцы заметят их, то уже никаких шансов на внезапность нападения не останется, а тем самым и на успех. В успех Пригожин не верил вообще, но одно дело быть расстрелянными немцами на поле, другое же ворваться в деревню и нанести хоть какой-то ущерб противнику в рукопашном бою, хоть и погибнуть, но не совсем уж зазря.

С помкомбата договорились, что он со взводом пойдет много левее Овсянникова, остановится как можно ближе к деревне и будет поддерживать Пригожина только огнем — зачем губить людей, и так у них будут потери, когда немцы их обнаружат. Пригожин рассчитывал, что огонь слева как-то отвлечет немцев и ему, быть может, удастся ворваться в деревню.

Сейчас рота, подойдя к участку, освещаемому ракетами, залегла и передыхала перед тем, как начать движение ползком. Людям хотелось курнуть хоть разок, затянуться махрой в предпоследние минутки жизни, но сделать это было нельзя, а потому тихо переговаривались друг с другом, обменивались адресами. Брезжила все же надежда у каждого, что, может, ранят в начале наступления, тогда как-нибудь доберутся живыми до исходного рубежа, до родного леска, а оттудова уж и до санвзвода.

— Что ж, прощаться будем, Евгений Ильич? — шепотом спросил Костик Пригожина.

— Подождем, Костик… — так же тихо ответил Пригожин.

— Тогда глотнем, — стал вытаскивать последнюю трофейную бутылку Костик.

Они сделали по глотку, после чего Костик передал бутылку ближнему к нему бойцу.

— По глотку, браток. И передай по цепи…

Глотки делали большие, а потому досталось немногим. Странно было осознавать, что, возможно, это последний глоток. Да что там возможно! Почти наверняка…

— А что вам помкомбат говорил?

— Комбат приказал ему, если мы сдаваться пойдем, чтоб не допустил, усмехнулся Пригожин.

— Вот падла… Может, зря вы меня остановили?

— Не зря, Костик… Под расстрел и вы, и я пошли бы. Или… или действительно к немцам надо было уходить. Нет, лучше уж в бою. Банально, конечно. Такое бы политруку вякать, а не мне…

— А почему вы политрука отпустили, пожалели?

— Он ранен.

— Но ведь комбат приказал ему идти с нами.

— Это незаконный приказ. Раз человек ранен, должен идти в тыл.

— А вот нам не повезло, хоть бы царапина, — горько усмехнулся Костик. Возьмем мы деревню, Евгений Ильич?

— Не знаю. Думаю, нам удастся в нее ворваться. Все зависит от того, сколько там немцев. Ладно, пора… Передайте по цепи — продолжать движение.

Костик пополз к бойцам, и рота начала двигаться к деревне, превозмогая усталость и смертную маету.

Пригожин поглядывал на часы. Они договорились с помкомбатом, что он начнет обстрел в четыре ноль-ноль, и оставалось еще десять минут… В эти, быть может, последние минуты Пригожий не думал ни о матери, ни о доме, ни о Москве… Знал он по опыту, что мысли эти расслабляют, даже

мешают, но вот от другой мысли, которой у его отца, сражавшегося против немцев в четырнадцатом году, наверное, не было, мысли, не только мешающей, но и разъедающей душу, отвязаться не мог… Он, быть может, единственный из всей роты понимал, что, защищая Россию, он защищает и сталинский строй, сломавший судьбы миллионов русских людей.

— Который час? — прервал размышления Пригожина Костик. Взглянув на часы, Пригожий увидел, что помкомбат запаздывает, было уже десять минут пятого. Видимо, еще не подобрались на нужное расстояние для действенного огня.

— Уже пятый час…

— Скорей бы, — вырвалось у Костика. — Невмоготу ждать.

Подполз Мачихин и зашептал:

— Вот перестреляют всех нас, Петровича и не захороним, а слово ведь давали.

— Кто же знал, что нас снова погонят, — ответил Костик. — Простить должен нас папаша.

— Он-то простит, но я к тому, что ежели кто из нас уцелеет, чтоб не забыл… Эх, покурить бы, — вздохнул Мачихин.

Люди лежали уже полчаса и стали замерзать. И вот наконец-то раздалась стрельба с левой стороны деревни, но Пригожин не торопился давать команду на атаку. Только когда услышал крики "Ура!", он скомандовал: "Вперед!" Все поднялись почти разом и в полном молчании, стиснув зубы, с холодным отчаянием в сердце, тяжело двинулись к деревне…

Комбат тоже промерз в ожидании боя в деревне, а потому стрельба застала его не сидящим на пеньке, а меряющим шаги вдоль опушки, чтобы согреться. Услышав стрельбу, он остановился, вынул казбечину, закурил и, подойдя вплотную к полю, старался рассмотреть, что же там происходит. Но видны были только пунктиры трассирующих с двух сторон, вспышки осветительных ракет и нечастые разрывы мин слева от деревни. Он понял маневр Пригожина и теперь ожидал боя с другой стороны. Через некоторое время к нему подошел командир второй роты и тоже стал глядеть на поле.

— Понял маневр, старшой? — спросил комбат.

— Да.

— Вообще-то верно поступили они, но этот мальчишка не выполнил мой приказ.

— Какой?

— Я приказал ему… А ты разве не слыхал? Ну и ладно, — пробурчал комбат, понимая, что тот, судя по прежнему разговору, не одобрит.

Стрельба шла, но рота Пригожина, которая должна начать

наступление справа, пока не подавала жизни. Комбат начал нервничать. Чем черт не шутит, вдруг и верно предпочтет Пригожин плен смерти? Ну, тогда помкомбата несдобровать. Приказал же ему следить за ротой Пригожина и в случае чего не допустить. А Пригожин отправил его от себя отвлекать немца, что вроде бы логично и грамотно, но развязал себе руки и может теперь спокойно перейти к врагу.

— Ты, старшой, с Пригожиным на формировании общался?

— Общался.

— Ну и как он? Можно ему доверять?

— А почему бы нет? Дельный командир, повоевал уже в сорок первом, ранен был… Не пойму я вас, товарищ майор, откуда такая недоверчивость?

— Оттуда, старшой, — коротко ответил комбат, рассчитывая, что поймет тот.

Старший лейтенант понял, но все равно смотрел на комбата холодно. Комбат чувствовал его отчужденность и неприязнь, но ему было это безразлично. Его никогда не любили подчиненные, и он, зная это, часто говорил в кругу командиров: "Я не баба, чтоб меня любить", и полагал, что командира нужно бояться, а потому всегда был жесток с подчиненными, безмерно требователен и чего-чего, а дисциплинка у него стояла на высоте, потому и продвинулся быстро по службе, особенно после тридцать седьмого — от старшего лейтенанта до майора. Когда он отошел в кусты по нужде, остатки роты Пригожина ворвались в деревню и стрельба, разрывы гранат доносились до передовой.

Застегивая на ходу прореху, комбат подошел к опушке и облегченно выдохнул:

— Начали наконец-то…

Бой на правой стороне деревни длился минут пятнадцать. Потом все смолкло. Слева взвод под командой помкомбата еще вел некоторое время огонь, но вскоре затих — видать, стали отходить. Комбат после этого искурил папиросу… Командир второй роты снял ушанку и стоял, вперив взгляд в поле. Комбат поморщился недовольно на эту "демонстрацию", как про себя он назвал поступок старшого, и вытащил вторую казбечину…

— Ну что, товарищ майор? — повернулся к нему командир второй роты.

— Чего что? Пригожий с ротой искупил кровью нарушение приказа, — резко выхрипнул он. — Кстати, и тебе, старшой, урок, и всем, кто посмеет нарушить приказ. Война же. Понял? Я пошел. Передай помкомбату, что я объявляю ему благодарность. Если кто подойдет раненый, обеспечь отправку в тыл. Все, — он круто повернулся и зашагал по тропке, вытоптанной в снегу, которая

вела к Чернову.

Он понимал, надо бы дождаться хоть одного из роты Пригожина, чтоб расспросить, а может, и посочувствовать, наградить, но, вспомнив высокого бойца в оборванной телогрейке, шедшего на него с автоматом, его сумасшедшие глаза, брызжущие ненавистью, ощутил неприятный холодок в груди. Конечно, струсил майор встретиться с кем-то из погубленной роты Пригожина, но сам себе в том не признался.

Карцева ранило в руку, когда они бежали к деревне, но он не бросил роту, а наскоро перевязался и вступил в рукопашный бой вместе с другими, но когда автоматная, видать, нуля полоснула по щеке и все лицо залилось кровью, Пригожин, заметив это, приказал ему немедленно выходить из боя… Карцев, придавливая стыдную, но неуемную радость от того, что, может, останется в живых, отбежал назад, залег где-то в огородах у плетня, вытер лицо от крови и ждал, что вдруг кто-то вырвется раненым из боя, хорошо, конечно, если это будет ротный…

Но бой вскоре затих… Слышались лишь голоса немцев и редкие выстрелы, которыми они, наверно, добивали раненых. И только тогда Карцев начал потихоньку отползать, а когда отполз от деревни подальше, поднялся и, пошатываясь, заковылял в тыл. Не в тыл, конечно, а к передовой, к тому леску, из которого пошли они в наступление и с чего начался для них этот страшный день и такая же жуткая ночь…

Он плелся еле-еле, изнемогая от усталости и потери крови, но автомат держал крепко. В его диске оставалось еще десяток патронов, и он уже знал точно, что если застанет комбата в лесу, то застрелит его без всяких колебаний и сомнений. Более того, он полагал это своим святым долгом перед погибшими ребятами и ротным, с которым так сблизился за это время. Та стыдная радость, которую он на миг ощутил, когда Пригожин приказал ему отходить, сейчас покинула его, ему уже не хотелось жить, а потому были не страшны последствия… Пусть расстреляют, но он отомстит за напрасную гибель своей роты.

Когда он добрался до леса, силы оставили его, он рухнул на снег, чувствуя, что теряет сознание… Превозмогая себя и чтоб не допустить этого, он вынул фрицевские сигареты и закурил, но после же двух затяжек провалился то ли в сон. то ли в беспамятство…

notes

Примечания

1

Вус — военно-учетная специальность.